

КУРТ ВОННЕГУТ

БОЙНЯ НОМЕР ПЯТЬ

ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ, МИСТЕР РОЗУОТЕР!

Бойня номер пять. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер!

Курт Воннегут

Аннотация
Курт Воннегут. Бойня номер пять. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер!
Бойня номер пять, или Крестовый поход детей
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10

Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер,. или. Не мечите бисера перед свиньями
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5

Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14

Аннотация

Курт Воннегут — культовая фигура в литературе двадцатого века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого прошел чуть ли не весь двадцатый. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века в его произведениях обретают самые неожиданные формы, обрастают причудливыми образами.

В творческой манере Воннегута сочетаются едкая сатира, философия, фантастика, гротеск и черный юмор.



«Бойня номер пять». Доброволец в рядах американской армии во время Второй мировой войны, попавший в плен к немцам, свидетель почти полного уничтожения Дрездена, Воннегут перенес этот опыт на страницы своего самого знаменитого романа — «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором стираются грани между настоящим и прошлым, миром и войной, реальностью и фантазией, безумием и трезвостью.

«Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер!». Что ни говори, неплохо быть мультимиллионером — устраивать благотворительные собрания, открывать торжественные мероприятия… да просто помогать нуждающимся. Только вот мистер Розуотер явно какой-то странный богач. Он помогает всем и каждому, то есть АБСОЛЮТНО всем, без разбора — только попроси! Впрочем, он раздает деньги даже тогда, когда его об этом не просят. Семья, опасаясь за свое благополучие, нанимает ловкого юриста, чтобы признать Розуотера невменяемым.

Курт Воннегут
Бойня номер пять. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер!

Бойня номер пять, или Крестовый поход детей

Посвящается Мэри О'Хэйр и Герхарду Мюллеру

Ревут быки.
Теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

Глава 1

Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник, другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее Имена я все изменил.

Я действительно ездил в Дрезден на Гуггенхеймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дантоне. Наверно, там, в земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.

Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружились с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не

хватало ни еды, ни одежды, ни жилья.

А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.

Он послал О'Хэйру открытку к рождеству, и в ней было написано так — «Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого Рождества и счастливого Нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай»

Мне очень нравится фраза «если захочет случай».

Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказывать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.

Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь,

когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.

И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
"Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!"

И вспоминаю я еще одну песенку:

Зовусь я Ион йонсен,
Мой дом – штат Висконсин,
В лесу я работают тут.
Кого ни встречаю;
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Ион йонсен,
Мой дом – штат Висконсин…

И так далее, до бесконечности.

Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене.

Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:

— Книга антивоенная?

— Да, — сказал я, — похоже на то.

— А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?

— Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Стар?

— Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?

Конечно, он хотел сказать, что воины всегда будут и что остановить их так же легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.

И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.

* * *

Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О'Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным

прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте.

Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.

Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.

Так я отыскал и О'Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.

— Слушай, — сказал я. — Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.

Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.

— Знаешь, я думаю, что развязкой в книге

должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби, — сказал я. — Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форе и расстреливают.

— Гм-мм, — сказал О'Хэйр.

— Ты согласен, что это должно стать развязкой?

— Ничего я в этом не понимаю, — сказал он, — это твоя специальность, а не моя.

* * *

Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.

Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом — конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом — с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так

далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.

Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад.

Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев — тысячи бывших военнопленных.

А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен — одного на одного. О'Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О'Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была — и до сих пор есть — парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный американка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около кварты алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.

Дурак-англичанин, потерявший где-то все

зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих. ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шеей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стукал меня мешком по ногам.

Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни.

Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.

— Видал красоту? — сказал он.

* * *

И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.

И мы завели ребят.

А теперь все они выросли, а я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, при-

вычными сигаретами. Зовусь я Ион Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут.

Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.

— Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.

— Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.

— Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.

И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.

— Хороший ты малый, Сэнди, — говорю я ему. — Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.

Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.

Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:

— Кто его знает…

* * *

Иногда я раздумываю о своем образовании. После второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.

И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых.

Незадолго перед смертью мои отец мне сказал:

— Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.

Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.

* * *

Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествии в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали

все городские газеты, и АП, и ЮП[1], и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.

Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.

И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать дю телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была

---

[1] notes: 1
АП — Ассошиэнтед Пресс, ЮП-Юнаитед Пресс.

и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.

Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал быстро спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.

Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:

— А жена его что сказала?

— Она еще ничего не знает, — сказал я. — Это только что случилось.

— Позвоните ей и возьмите у нее интервью.

— Что-о-о?

— Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.

Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну и вообще…

Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.

Я ей рассказал.

— А вам было неприятно? — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».

— Что вы, Нэнси, — сказал я. — На войне я видел кой-чего и похуже.

* * *

Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке не многие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.

Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета — мы встретились на коктейле — о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.

Я мог только повторять одно и то же:

— Знаю. Знаю. Знаю.

* * *

Конечно, вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом внешних связей при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.

Часто он с издевкой спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.

Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему.

Тогда я написал в управление военно-воздуш-

ных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.

Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:

— Господи ты боже мой, совершенно секретны — да от кого же?

Тогда мы считали себя членами Мировой федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону — во всяком случае, я, особенно по ночам.

* * *

Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О'Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того — в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Ион Йонсен… Какой-то ученый доцент…

Я взял с собой двух девчурок: мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они

никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.

Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда — пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.

— Пора ехать, девочки, — говорил я. И мы уезжали. И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О'Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.

* * *

Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хэйр — медицинская сестра; чудесное

занятие для женщины.

Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх — играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.

— Славный у вас дом, уютный, — сказал я, и это была правда.

— Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не помешает, — сказала она.

— Отлично, — сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсотсвечовой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один-единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.

Мы сели за стол. О'Хэйр был смущен, но объ-

яснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сказал.

Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.

Я спросил О'Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.

— Ничего, ничего, — сказал он. — Не беспокойся. — Ты тут ни при чем.

Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.

Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли.

О'Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки и нам пришлось отвозить его домой на тачке.

Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.

Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.

Потом повернулась ко мне, — чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.

— Да вы же были тогда совсем детьми! — сказала она.

— Что? — переспросил я.

— Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.

Я кивнул головой — ее правда. Мы были на войне девами неразумными, едва расставшимися с детством.

— Но вы же так не напишите, верно? — сказала она. Это был не вопрос — это было обвинение.

— Я… я сам не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю — сказала она. — Вы притвори-

тесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. А драться будут дети, вон как те наши дети наверху.

И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась.

Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.

И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.

— Мэри, — сказал я, — боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, — добавил я, — я назову книгу «Крестовый поход детей».

После этого она стала моим другом.

Мы с О'Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хэйр достал книжку из

своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства толпы», написанную Чарльзом Макэем, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.

Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О'Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:

* * *

Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушие, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства.

* * *

А дальше О'Хэйр прочел вот что:

> Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка драчливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто.

Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.

Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, пишет Макэй, — дети, выпестованные пороками и дерзостью и готовые на все.

Папа Иннокентий Третий тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» — воскликнул он.

Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.

По какому-то недоразумению часть детей сочла местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накорми-

ли, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили восвояси.

— Да здравствуют добрые жители Генуи, — сказала Мэри О'Хэйр.

* * *

В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О'Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так:

* * *

Надеемся, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают в Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.

* * *

Я еще немножко почитал историю города:

В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов, особенно «Крещение Христа» кисти Франсиа. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой, день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви церковь Пресвятой девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху пришлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца – средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», – сказал он.

Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гёте, юным студентом,

посетил город, он еще застал унылые руины: "С купола церкви Пресвятой девы я увидал сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служка стал похваляться передо мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».

На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную: выставку в Нью-Йорк, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее — с точки зрения компании «Дженерал моторс»...

А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?

* * *

В течение двух следующих лет я вел творче-

ский семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него: Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене. А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:

— Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден…

Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм»', и теперь я говорю Сэму:

— Сэм, вот она, эта книга.

* * *

Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать, и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.

А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне — «пьюти-фьют».

Я сказал своим сыновьям, чтобы, они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы,

услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.

И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.

* * *

Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом О'Хэйром.

Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидал настоящую обстановку для тех выдуманных истории, которые я когда-нибудь напишу: Одна будет называться «Русское барокко», другая «Целоваться воспрещается» и еще одна «Долларовый бар», а еще одна «Если захочет случай» — и так далее.

Да, и так далее.

* * *

Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии, через Бостон, во Франкфурт. О'Хэйр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне, и

— в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал не-пассажиром в бостонском тумане, и «Люфтганза» посадила меня в автобус с другими не-пассажирами и отправила нас в отель на ночевку.

Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала — и проходил год, и потом она прыгала снова.

Я ничего не мог поделать. Как землянин, я должен был верить часам — и календарям тоже.

* * *

У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Рётке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:

Проснусь – к медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мои путь ведет.

Вторая моя книжка была написана Эрнкой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Седин был храбрым солдатом француз-

ской армии в первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью, писал он.

> Истина – в смерти, – писал он. – Я старательно боролся со смертью, пока мог… я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе… украшал лентами… щекотал ее…

Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «Остановите их.. не давайте им двигаться… Скорей, заморозьте их… навеки… Пусть так и стоят…»

> Я поискал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.
>
> Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа

с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.

Такие дела.

В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески.

* * *

И она превратилась в соляной столб. Такие дела.

Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану.

Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.

А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб.

Начинается она так:

"Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени".

А кончается так:

«Пьюти-фьют?»

Глава 2

Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени.

Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1964 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.

Так говорил Билли.

Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен, над тем, куда сейчас попадет, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть.

* * *

Билли родился в 1922 году в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера.

Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом — высоким и слабым, похожим

на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первой десятке своего класса и проучился один семестр на вечерних, курсах оптометристов, в том же Илиуме, перед тем как его призвали на военную службу: шла вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.

Билли воевал в пехоте в Европе — и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.

* * *

Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Плэсида, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум — особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая, сталелитейная компания.

Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме на компанию служило шестьдесят восемь тысяч человек.

Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.

Оправы — самое денежное дело.

* * *

Билли разбогател. У него было двое детей — Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.

В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет — они летели из Илиума на международный оптометрическпй съезд в Монреале Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.

* * *

Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного. отравления окисью углерода. Такие дела.

После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен.

Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.

И вдруг без всякого предупреждения Билли, поехал, в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он заплутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдбек…

* * *

Какие-то бессонные граждане в Илнуме услышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, объяснил он, потому что. тральфамадорцы провели его по такому

витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамадоре, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.

Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.

В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» — ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы.

Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие, стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой рукой с зеленым глазом на ладони.

Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только в трех измерениях. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфамадорцы.

* * *

Когда появилось первое письмо, Билли уже

работал над вторым. Второе письмо начиналось так:

"Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, — это то, что, когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.

Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто о плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: «Такие дела».

И так далее.

Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий

хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка… Рухлядь, а не машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.

Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью.

Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. Наконец она отперла дверь своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» — и так далее.

Билли не откликался, и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место — в подвальную кладовку.

* * *

— Почему ты не отвечал, когда я звала? — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.

— А я тебя не слышал, — сказал Билли.

Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым, хотя ему-то было всего сорок шесть, — престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы, И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распоряжаться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплевательски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в таком юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо

более важному делу, чем прежняя его работа.

Он считал, что сейчас он прописывает душам землян корректирующие очки — ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что земляне не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья тральфамадорцы.

* * *

— Не лги мне, отец, — сказала Барбара. — Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.

Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.

— Ах, отец, отец, отец, — сказала Барбара, — ну что нам с тобой делать?

Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?

Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых, в так называемом Сосновом бору, на окраине Илиума.

— Да что тебя так рассердило в моем письме? — спросил Билли.

— Но это сплошной бред! Там все не правда.

— Нет, все правда. — Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.

— Нет такой планеты — Тральфамадор!

— То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с Земли, — сказал Билли. — А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.

— Откуда ты взял такое дурацкие название — Тральфамадор?

— Так ее называют существа, живущие там.

— О господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью. — Разреши задать тебе простои вопрос.

— Конечно, пожалуйста.

— Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?

— Считал, что время еще не приспело.

Ну и так далее. Билли говорил, что впервые заплутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем.

Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.

Билли заблудился во времени, когда еще шла вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.

Во время манёвров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей н две педали — Vox humana и vox celesta[2]. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвижными ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежали алюминиевый полированный крест н Библия.

И алтарь и орган были сделаны на фабрике пылесосов в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.

---

[2] notes: 2
Голос человеческий к глас небесный (лат.).

* * *

Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш господь» — музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.

Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.

Вспоминая этот случай много позднее. Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе — быть убитым и в то же время завтракать.

К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ. с которым они охотились на оленей. Такие дела.

* * *

Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ — отправиться за море.

Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге.

Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.

Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог.

Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.

Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не такие обалделые, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было.

Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.

* * *

Шли, они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные.

У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой — охотничий нож.

Последним брел Билли с пустыми рукам и, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, — шесть футов три дюйма, грудь и плечи как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах, у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы.

На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними — длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только двадцать один год. Но он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.

Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго.

* * *

Так они бродили два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке — они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй — стрелку, которого звали Роланд Вири.

А третья пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился — надо же дать снайперу еще одну возможность.

У него были путаные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок.

Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.

Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли; «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова

прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.

* * *

«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», — сказал Вири, когда.

Билли спрыгнул в канаву. Он сто, раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы — шел он или стоял на месте. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца..

* * *

Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд — из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в тридцать футов

длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.

А целью был танк «тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой восьмидесятимиллиметровый хобот, пока не увидал стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела.

* * *

Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся.

Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.

Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют — а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и изобьет до полусмерти.

И так всегда. Отношения с ребятами у него шли

как по плану — гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца — тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое.

Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.

Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка, в фут высотой, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами… Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь.

Вот такие дела.

* * *

Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Деррингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать».

Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Билли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.

Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки — он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался — и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Например, сверлить кому-нибудь ухо зубоврачебной бормашиной. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было.

Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтобы смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».

Такие дела.

Теперь, лежа в канаве с двумя разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вири просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.

Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:

— Хочешь — ударю, хочешь? М-ммм? Мммммммм?

— Нет, не хочу, — сказал Билли.

— А знаешь, почему лезвие трехгранное?

— Нет, не знаю.

— От него рана не закрывается.

— А-аа.

— От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека — получа-

ется разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?

— Понял.

— Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах ваших!

— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был ненастоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.

— Липовый твой колледж, — ядовито сказал Вири.

Билли пожал плечами.

— В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.

На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было не до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение — сказать, что и ему кое-что известно про кровь и все такое. В конце концов, Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илиуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа-рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных

гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.

Такие дела.

* * *

Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквах города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, какая из них самая правильная.

Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие.

И она купила распятие в Санта-Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад во время великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров.

И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.

* * *

Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть — подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.

Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса — на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике бальных танцев: шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.

— Закрой пасть и молчи! — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый как шар.

На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках

из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумажные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезащитноп переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра — «За что мы сражаемся» и еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как-то: «Где находится ваш штаб?» или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно», и так далее.

Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом.

У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шот-

ландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.

* * *

Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колони стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году — в этом году Луи Ж. — М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра. может быть проявлено при воздействии ртутных паров.

В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же — в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография-настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.

Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина — смертная, а пони — один из богов.

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.

Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он пылал как печка под всеми своими шерстями и одежками.

В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожаком.

Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую

историю войны — хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась.

У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку, Вири и его ребята из противотанковой части сражались как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим.

Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «три мушкетера».

Но тут к ним попросился этот несчастный студентишка, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже пилотки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума не свел, мог запросто выдать их позицию.

Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентишке несчастному.

А на самом деле Вири замедлил шаги — надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам:

— Подождите, надо пойти за этим чертовым идиотом.

Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о воине. Офицер поздравлял «трех мушкетёров», обещая представить их к Бронзовой звезде.

«Могу я быть вам полезным, ребята?» — спрашивал офицер.

«Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал „трех мушкетеров“?»

Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне.

Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет — и гул.

А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился.

Он был маленький мальчик и стоял под душем со своим волосатым отцом в илиумском клубе ХАМЛ[3]. Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке.

Маленький Билли ужасно боялся: отец сказал, что будет учить его плавать методом «плыви или тони». Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте — придется Билли плыть, черт возьми!

Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился.

* * *

Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел сорок второй год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом бору — пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких, и думали, что

---

[3] notes: 3
ХАМЛ — Христианская ассоциация молодых людей.

ей не выжить. Но она прожила еще много лет.

Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное.

— Как… — начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо: Билли сам закончит фразу за нее.

Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать.

— Что «как», мама? — подсказал он ей.

Она глотнула воздух, слезы покатились по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от пальцев на руках до самых пяток. И наконец у нее хватило сил прошептать всю фразу:

— Как это я так состарилась?

* * *

Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли

разбил голову при катастрофе самолета, — перед тем, как он так красноречиво заговорил о летающих блюдцах и путешествии во времени.

Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась, «Казнь рядового Словика», автор Уильям Бредфорд Гьюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д.

Словика, 36896415, — единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость.

Такие дела.

Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так:

* * *

Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая

является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.

* * *

Такие дела.

Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно, в 1958 год. Он был на банкете в честь команды Молодежной лиги, в которой играл его сын Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения.

— Клянусь богом, говорил он, — я считал бы честью подавать поду этим ребятам Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времени в 1961-й. Был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками либо женами оптиков.

Обычно Билли пил мало — после войны у него болел желудок, — но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене, Валенсии, в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела.

Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее резиновый пояс.

— А что вы мне хотели сказать — спросила она — Все в порядке, — сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке.

Имени дамы он вспомнить не мог.

— Почему вас называют Билли, а не Вильям?

— Деловые соображения, сказал Билли.

И это была правда. Тесть Билли, владелец Илнумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области Он сказал пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом.

* * *

Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал, люди возмущались Билли и его дамой, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль.

Теперь было важнее всего найти руль. Сначала Билпи махал, руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так, что руль от него никак не мог спрятаться — Он крепко прижался к левой дверце и обшарил

каждый квадратный дюйм перед собой. Когда. руль не обнаружился, Билли продвинулся вперед на шесть дюймов и снова стал нашаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его рассердило, но он тут же свалился и уснул.

Оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль.

Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся, Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во второй мировой войне, в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул, назад и толкнул туда, куда надо было идти.

Билли остановился, потряс головой.

— Идите сами! — сказал он.

— Что?

— Идите, без меня, ребята. Я в порядке.

— Ты что?

— Все в порядке…

— У, черт тебя раздери, — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему все пред-

ставлялось что-то вроде жабы в аквариуме.

С четверть мили Роланд толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учуявшие, где дичь.

Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно.

Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея.

— Вот он, ребята, — сказал Вири. — Жить ему неохота, да мы его заставим.

А когда спасется, так поймет, клянусь богом, что жизнь ему спасли «три мушкетера».

Разведчики впервые услыхали, что Вири зовет их про себя «тремя мушкетерами».

Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое, хоть на минуту, думал он, никому не пришлось бы с ним возиться. Он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам, деревьев.

Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга и страшно испугал Билли.

Восемнадцатилетний Роланд Вири протиснулся между двумя разведчиками.

— Ну, что теперь предпримут «три мушкетера»?

У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег.

Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевок. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылу у немцев — жили, как лесные звери, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысля не головным, а сшитым мозгом.

Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму тоже, лучше всего поискать, кому сдаться.

Ждать их разведчики не желали.

И они бросили Вири и Билли в русле речки.

* * *

Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки — любой человек сказал бы, что такая акробатика немыслима, но он кружился, тормозил на пятачке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось: вместо, галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени.

Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Илнуме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены Клуба львов. Он только что был избран председателем, этого клуба, и ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша. Они услышат его высокий срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы. И что еще хуже — сказать ему было нечего. Люди затихли. Все раскраснелись, заулыбались.

Билли открыл рот — и прозвучал глубокий,

звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепнее. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства.

А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Роланд Вири бил его смертным боем.

* * *

Трагический гнев обуревал Роланда Вири. Снова С ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны. Весь нож целиком — и трехгранное лезвие, и желобок для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости загремели, он стукнул его об землю у берега.

Вири орал и стонал сквозь слои шарфа — подарка из дому. Он что-то невнятно мычал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, какие богобоязненные, какие мужественные люди все «три мушкетера», в самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую для себя, и бесценную службу, какую они сослужили делу христианства.

Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок.

— Тебя к армии и подпускать нельзя! — сказал Вири. У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех.

— Ты еще смеешься, а? — крикнул Вири. Он обошел Билли со спины. Куртка, верхняя и нижняя рубашки задрались на спине у Билли почти до плеч, спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Роланда Вири жалобно торчали Биллины позвонки.

Вири отвел правый сапог, нацелился на позвоночник. на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку.

Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство: почему это один американец пытается убить другого американца

вдали от их родины и почему жертва смеется?

Глава 3

Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название, причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание».

Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее Принцесса.

* * *

Двое немцев были совсем мальчишки. Двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых

солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта.

Командовал ими капрал средних лет — красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен четыре раза — и его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдаться. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела.

Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот: однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву».

Билли Пилигрим никогда не слыхал про этот анекдот. Но, лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидал Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил.

Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались

деревянные сабо.

Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, пятнадцатилетнего мальчугана.

Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева.

* * *

Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его — нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша.

Вдали прозвучали три спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки.

Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тыла.

Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из «трех мушкетеров».

Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки,

что Вири небось хотел пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали.

— Хороша у тебя игрушка! — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего штучка, а?

Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири, Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуха Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию.

Не пробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем. У нее стальной переплет.

* * *

В кармане брюк у Вири, капрал нашел порнографическую открытку — женщину с пони.

— Повезло коняге, а? — сказал он. — М-ммм? Тебе бы на его место, а? — Он передал картинку другому старику:

— Военный трофей! Твой будет, твой, счастливчик ты этакий!

Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они, и Билли и Вири, оказались без походной обуви, а идти им пришлось милю за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал — вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири.

— Извини, — говорил тогда Билли или же:

— Прошу прощения.

Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили о сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек двадцать американцев; они сидели на полу, прислонись к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать — то есть ни о чем.

Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана — тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку.

* * *

Билли пропутешествовал во времени, открыл

глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли в Илиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки.

Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно. Но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог.

— Доктор, — осторожно окликнула его пациентка.

— М-ммм? — сказал он.

— Вы вдруг замолчали.

— Простите.

— Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились.

— М-мм.

— Вы увидали что-нибудь страшное?

— Страшное?

— Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?

— Нет, нет, — сказал Билли, которому ужасно хотелось. спать. — Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения.

И он велел ей пройти в другой кабинет, в конце коридора: там был большой выбор оправ.

* * *

Когда она вышла, Билли отдернул занавески н не понял, что там, на дворе. Окно закрывала штора, и Билли с шумом поднял ее Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного универмага.

Прямо под окном стоял собственный «кадиллак» Билли «Эльдорадо Купэ дэ Виль». Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озейбл», — гласила одна. «Поддержите свою полицию», — взывала другая. Там была и третья, на ней стояло: «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Бэрча. На регистрационном номере стояла дата: 1967 год. Значит, Билли, было сорок, четыре года и он спросил себя: «Куда же ушли все эти годы?»

* * *

Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер «Оптометрического обозрения». Он был развернут да передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами, «События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на пятьдесят! — читал Билли. — С таким предупреждением Жан Тириарт, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. Надо выбирать, сказал он, либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы. станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике».

Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес.

Вдруг взвизгнула сирена, напутав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала третьей мировой войны. Но сирена просто возвестила полдень.

Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли.

Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он

снова очутился во второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить, — пора было двигаться дальше.

* * *

Американцы, и вместе с ними Билли, шли шутовским парадом по дороге.

Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты, с «лейкой». Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были. широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой.

Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен.

* * *

Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Моны Лизы, потому что он

одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой «кадиллак» в 1967 году.

Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в Клуб львов. Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напоминал Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы — там прошли танки и бронетранспортеры национальной гвардии.

«Брат по крови», — гласила надпись, сделанная красноватой, краской на стене разрушенной бакалейной лавочки.

Раздался стук в стекло. машины Билли. У машины стоял черный человек.

Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое: он поехал дальше.

* * *

Билли, проезжал по еще более безотрадным

местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума, Дом искусств, бассейн «Мирный» и кварталы дорогих жилых домов.

Билли Пилигрим не возражал.

* * *

Председательствовал на собрании Клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама — пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума.

* * *

Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама, не содрогался, вспоминая об

ужасах, которые он сам видел при бомбежке Он просто завтракал в Клубе львов, где когда-то был председателем.

На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая была ему поддержкой, хотя он и относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала Звучала молитва так:

ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ
ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ,
ЧТОБЫ ПРИНИМАТЬ
ТО, ЧЕГО Я НЕ МОГУ
ИЗМЕНИТЬ,
МУЖЕСТВО — ИЗМЕНЯТЬ ТО, ЧТО МОГУ,
И МУДРОСТЬ — ВСЕГДА ОТЛИЧАТЬ
ОДНО ОТ ДРУГОГО.

К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее.

* * *

А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший его, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын — сержант «зеленых беретов» во

Вьетнаме.

Майор сказал Билли, что «зеленые береты» делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном.

— Да, да, конечно, — сказал Билли. — Конечно!

* * *

Билли отправился домой — прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания: вдруг, без всякой причины. Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил.

* * *

В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат как Крез, хотя раньше считал, что богатства ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще пять оптиков, и зарабатывал он больше шестидесяти тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала пятая часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе 54 и половинная доля в каждом из трех киосков, продававших

«холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого.

Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город — выбирать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали: желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было.

Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его.

Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась «электровибратор» — он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора.

Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил штору, задернул занавески и лег поверх одеяла. Но сон не шел.

Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил «волшебные пальцы», и они стали его укачивать, пока он плакал.

* * *

Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь — вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал, он непрестанно гримасничал, будто подражая каким-то знаменитым киноактерам.

Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей.

Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели две назад в Клубе львов от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию.

Билли еще раз выглянул на улицу, увидал новый шикарный «бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на калек и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался как оглашенный, Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все ещё плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.

* * *

С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво.

Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел прихрамывая — вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири.

* * *

— Прошу прощения, — сказал он.

У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах.

Деревянные сабо превращали его ноги в кровяной пудинг.

На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался.

Они текли, как вода с горы, вниз по дороге и наконец слились в один поток на шоссе в долине. По долине, как Миссисипи, потекли рекой униженные американцы. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. Они вздыхали и стонали.

* * *

Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю. дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих, германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, загорелых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели,

как клавиши рояля.

Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в загрубевших ладонях.

Один солдат, весь в черном, пьяный вдребезину, устроил себе «отдых героя», развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевок шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом.

* * *

Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навидался — видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просинью. Такие дела.

Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шлюха.

Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал:

— Не толкайся! Не толкайся!

Они подымались по некрутому склону. Когда

они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии.

На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу.

Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась.

Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.

Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию.

Лучи прожекторов метались как безумные.

* * *

Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двухстороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами,

и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли.

Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли:

— Из моих ребят?

Этот человек потерял свой полк — около четырех тысяч пятисот человек.

Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный.

— Из какой части? — опросил полковник. Потом стал кашлять, кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага.

Билли не мог вспомнить номер своей части.

— Из пятьдесят четвертого?

— Пятьдесят четвертого чего? — спросил Билли.

Наступило молчание.

— Пехотного полка, — сказал наконец полковник.

— А-аа, — сказал Билли.

* * *

Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту:

— Это я, ребята! Бешеный Боб!

Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — «Бешеный Боб».

Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири, но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог.

Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам, и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с пятьдесят четвертым.

Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе — в Коди, штат Вайоминг. И зажарит им целого быка.

И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи.

— Храни вас бог, ребятки! — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу Билли. А потом полковник сказал:

— Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите Бешеного Боба.

Я был при этом. И мой дружок Бернард В. О'Хэйр тоже.

Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом

Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд.

По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и, когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше, на выступающую диагональную угловую скрепу, чтобы дать место другим.

Таким образом его глаза оказались на уровне отдушины, и он мог видеть второй состав, ярдах в десяти от них.

Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звания, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался.

Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга, лет сорока.

— Я и не так голодал, — сказал бродяга Билли. — И бывал кой-где похуже.

Не так уж тут плохо.

* * *

Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала.

— Йа-йа, — сказал один, задумчиво кивая головой. — Йа, йа-аа…

Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим как зачарованный уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек.

Там была пузатая печурка, а на ней — кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем — бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было четыре миски с супом.

На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери.

Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южно-германским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем: веди, мол, себя

хорошо.

Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего уютного вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось шесть живых полковников и одни мертвый.

Немцы вынесли покойника. Это был Бешеный Боб. Такие дела.

* * *

Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок — он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных.

Воина шла к концу. Паровозы двинулись на восток о конце декабря. А в мае воине пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли.

* * *

Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще двое суток.

— Бывает и хуже, — сказал бродяга на второй день. — Бывает куда хуже.

Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ.

Паровозы говорили друг дружке: «Здрасьте!»

Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо.

Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань.

Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушины, а те их выливали. Билли стоял на

подхвате.

Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились.

* * *

Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю — она ерзала, рыгала, вздыхала.

Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике.

А потом поезд двинулся на восток.

Где-то на земле было рождество. В сочельник Билли Пилигрим и бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике, и Билли заснул и поплыл во времени в 1967 год — в ту ночь, когда его похитило летающее блюдце с Тральфамадора.

Глава 4

В ночь после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было сорок четыре года. Свадьбу отпраздновали днем, в саду у Билли, под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые.

Билли примостился, как ложка, около своей жены Валенсии на большой двухспальной кровати. Их укачивали «волшебные пальцы». Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как двуручная пила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург — один из компаньонов Билли, совладельцев гостиницы «Отдых».

Светила полная луна.

Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просинью.

Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдце. Коридор был исполосован лунным светом и тьмой. Свет

падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока не выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вели страх и бесстрашие.

Страх приказывал ему: остановись! Бесстрашие говорило: иди! Он остановился.

Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой.

Посреди комнаты были свалены и кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат «принцесса», Он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли. И вдруг он зазвонил.

Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах — горчичный газ и розы. Оказалось — ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутыль лимонаду. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем нет никаких питательных веществ.

* * *

Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просинью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе — все,

что осталось от пира под тентом. Кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто говорила бутылка.

Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось.

Такие дела.

Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюдца. Он пошел в гостиную, помахивая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, просмотрел последний военный фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем.

Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися о землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям.

Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем.

Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно каким-то чудом пламя съеживалось, собиралось, собиралось в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова всех починили, все стало как новенькое.

* * *

Когда бомбы возвращались на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы.

Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе.

Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть в

землю и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда никого не увечили.

Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками. «А Гитлер, наверно, стал младенцем», — подумал Билли. Но этого в фильме не было. Билли экстраполировал события назад. «Все превратились в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства — двух людей, должно быть Адама и Еву», — думал Билли.

* * *

Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять с начала до конца, а потом было уже пора идти во двор встречать летающее блюдце. И он вышел, топча иссиня-белыми ногами мокрую, как салат, зеленую лужайку. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Тральфамадора уже прилетело блюдце. Скоро он его все равно увидит, и снаружи и внутри, скоро он увидит, откуда оно пришло, — скоро, очень скоро.

Над головой послышался звук — словно певуче

ухнула сова. Но это вовсе не был певучий крик совы — это летело блюдце с Тральфамадора, летело и во времени, и в пространстве, так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака.

* * *

Блюдце было сто футов в диаметре, с иллюминаторами но борту. Из иллюминаторов шел пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуи, — это открылся герметический люк в дне блюдца. Оттуда зазмеились лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель.

Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втащили в люк, механизм закрыл крышку люка.

Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал.

* * *

Внутри люка были два глазка — и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфамадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова.

— Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим, — произнес голос из громкоговорителя. — Есть вопросы? Билли облизнул губы, подумал и наконец спросил:

— Почему именно я?

— Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему вы. А почему мы?

Почему вообще все? Просто потому, что этот миг таков. Видели вы когда-нибудь насекомое, застьшшее в янтаре?

— Да.

Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье — кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками.

— Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига, никаких «почему»

тут нет.

В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит краденными вещами для меблировки искусственного жилья Билли в тральфамадорском зоопарке.

От страшного ускорения полета блюдца при выходе из земной атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо исказилось гримасой, и он выпал из времени и снова вернулся на войну.

Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюдце. Он снова очутился в теплушке и ехал по Германии.

В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было темным-темно, снаружи — та же темнота. Вагон, казалось, шел со скоростью не более двух миль в час. Ни разу поезд не ускорил ход. Много времени проходило между одним стыком рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год, и раздавался следующий стук.

Поезд часто останавливался, пропускал действительно важные составы, и те с ревом про-

летали мимо. И еще поезд останавливался в тупиках, у тюрем, отцепляя там по несколько вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче.

И Билли опустился на пол осторожно — ох, до чего осторожно! — держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что, прежде чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили.

— Пилигрим, — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться, — это ты?

Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся и закрыл глаза.

— А, черт тебя дери, — сказал человек. — Ты это или не ты? — Он сел и грубо нашарил Билли руками. — Ты, конечно. Убирайся отсюда ко всем чертям!

Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга.

— Убирайся! Я спать хочу!

— Заткнись, — сказал кто-то.

— Заткнусь, когда Пилигрим уберется.

И Билли опять встал, вцепился в поперечину.

— А где же мне спать? — спросил он тихо.

— Только не рядом со мной.

— И не со мной, сукин ты сын, — сказал второй голос. — Ты со сна орешь и брыкаешься.

— Правда?

— Правда, черт подери. И стонешь.

— Правда?

— Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?

И тут весь вагон хором стал нещадно поносить Билли. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: не лезь сюда, иди ко всем чертям.

* * *

И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали подавать через отдушины, а дни и ночи становились все холоднее и холоднее.

* * *

На восьмой день сорокалетний бродяга сказал Билли:

— Ничего, бывает хуже. А я везде приспособлюсь.

— Правда? — спросил Билли.

На девятый день бродяга помер. Такие дела. И

последними его словами были:

— Да разве это плохо? Бывает куда хуже.

Что-то было роковое в его смерти на девятый день. И в соседнем вагоне на девятый день появился покойник. Умер Роланд Вири — от гангрены в искалеченных ногах. Такие дела.

Вири бредил не переставая и в бреду все повторял про «трех мушкетеров», говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге.

Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя.

— Кто меня убил? — спрашивал Вири.

И все знали ответ. А ответ был «Билли Пилигрим».

* * *

Слушайте: на десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов, и двери отворились. Билли боком примостился на поперечнике, словно распяв сам себя, и держался за край отдушины рукой цвета слоновой костя с просинью. Билли закашлялся, когда отворились двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашицей. Это подтверждало третий закон

движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное по силе и противоположное по направлению.

Этот закон применяется в ракетостроении.

* * *

Поезд прибыл в тупик около бараков, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных.

Охрана совиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дел с американцами, по общую характеристику такого груза они конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона, в сущности, представляет собою вещество в жидком состоянии и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь.

Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не слышать голосов охраны, ворковавшей, как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю.

Билли показался в дверях предпоследним. Последним был бродяга. Но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем. Такие дела.

* * *

Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что он разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий.

Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку — земной рай на колесах — занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан.

У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев уговорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела.

Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. А шинели обледенели, смерзлись настолько, что охране

пришлось орудовать штыками вместо ломов, и, подцепив торчащий воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные.

Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так съежилось и обледенело, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах цвета ржавчины или скисшего клубничного варенья. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом деле это был меховой воротничок.

Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела.

Охрана понукала Билли, чтобы он и все остальные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало — ни тепла, ни признаков жизни, одни только длинные низкие тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных бараков.

Где-то залаяла собака. От эха в зимней тишине

лай собаки звучал как удары огромного медного гонга.

* * *

Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидал русского солдата. Тот стоял один, в темноте — куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах.

Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой. Но заглянул прямо в душу Билли, ласково, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, и хоть он, быть может, эту весть сразу и в толк не возьмет, но все равно, хорошая весть — всегда радость.

* * *

Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные.

Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, и на Трафальмадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться.

Немец указательным и большим пальцами стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же это страна посылает таких слабаков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли.

* * *

Но одно из самых крепких тел принадлежало немолодому американцу, школьному учителю из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие дела. Дарби было сорок четыре года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морской пехоте, на тихоокеанском театре войны.

Дарби использовал свои связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной цивилизации». Кроме того, он был тренером тен-

нисной команды и очень заботился о своем теле.

Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули: он был расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней. Такие дела.

* * *

Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицеро, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лаззаро. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порченые — у него и кожа была страшная. Лаззаро был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фурункулезом.

Лаззаро тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири, и он дал Вири честное слово, что как-нибудь да расплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли.

Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены.

Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться — что будет. Их детородные органы сморщились, истощились. В тот вечер

продолжение рода человеческого никак не стояло на повестке дня.

* * *

Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из душей брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы — он не согревал.

Он щекотал и колол кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке.

В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами.

Вши, и бактерии, и блохи дохли миллионами. Такие дела.

А Билли пролетел во времени обратно в детство. Он был младенцем, и его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животику.

Ее ладонь легко шлепала по мягкому животику.

Билли пускал пузыри и агукал.

* * *

А потом. Билли снова стал оптиком средних лет — сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь.

Он играл в гольф с тремя другими оптометристами. Билли вышел на поле, настала его очередь бить.

Надо было послать мяч на восемь футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из лунки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не па лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летящего блюдца, которое направлялось па Тральфамадор.

* * *

— Где я? — спросил Билли.

— Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где мы и должны сейчас быть, — в трехстах миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов.

— Но как — как я попал сюда?

— Это мог бы вам объяснить только другой жи-

тель Земли. Земляне — любители все объяснять, они объясняет, почему данное событие сложилось так, а не иначе, они даже рассказывают, как можно было бы отвратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я — тральфамадорец и вижу время, как вы видите сразу единую горную цепь Скалистых гор. Время есть все время… Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть.

Рассмотрите его миг за мигом — и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре.

— По вашим словам выходит, что вы не верите в свободу воли, — сказал Билли Пилигрим.

— Если бы я не потратил столько времени на изучение землян, — сказал тральфамадорец, — я бы понятия не имел, что значит «свобода воли». Я посетил тридцать одну обитаемую планету во Вселенной, и я изучил доклады еще о сотне планет. И только на Земле говорят о «свободе воли».

Глава 5

Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точечек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков — на другом». Так объясняет Билли Пилигрим.

По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать.

У его похитителей было пять миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна-единственная английская книга, которую они везли в тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сюзанн.

Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна.

Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи: то удачи, а то неудачи. Но Билли надое-

ло без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил: пожалуйста, нельзя ли достать ему еще какую-нибудь книжку.

— У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете, — сказал динамик на стенке.

— Дайте мне хотя бы взглянуть на них.

Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук двенадцать, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами: то — удачами, а то — неудачами.

* * *

Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.

— Точно, — сказал голос.

— Значит, это действительно телеграммы?

— У нас на Тральфамадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы: каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение — описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все

сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.

В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было двенадцать лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона — на выступе Брайт-Эйнджел. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной.

— М-да-аа, — сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. — Вот оно как…

Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было семь проколов.

— Да, стоило ехать! — восхищенно сказала мать Билли. — И еще как стоило, боже мой!

Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны.

* * *

Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз.

— Да, сэр, — ответил лесник, — человека три в год.

Такие дела.

Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжочек в десять дней, так что ему все еще было двенадцать лет и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок.

Лесник объяснил, что пещеры открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте.

И свет потух, Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры.

Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.

Из полной тьмы Билли попал в полный свет, снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду.

Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А это новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки шарманщика. Все оно было изрешечено пулями.

Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли под мышками. Никогда еще за всю вторую мировую войну немцы не видали такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю.

* * *

Немцы велели всем построиться по пять в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попалось еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может, и убитым. Такие дела.

* * *

Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не поправилось охраннику: охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног.

Американец удивился. Он встал шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял

себе, что охранник его услышит и поймет.

— За что меня? — спросил он охранника.

Охранник втолкнул его в строй.

— Са што тепя? — спросил он по-английски. — Са што тепя? А са што всех труких?

* * *

После того как имя Билли записали в толстый гроссбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.

Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половину прикрепят над могилой.

Когда беднягу Эдгара Дарби, школьного учителя, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела.

* * *

Записанных и пронумерованных американцев снова повели через ряд ворот.

Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы.

Рядом с Билли шел маленький Поль Лаззаро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лаззаро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв.

За Лаззаро шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби, и американские немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты. А теперь он шел в темень где-то у чехословацкой границы.

— Стой! — скомандовал охранник.

Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы и оттуда летели снопы искр.

Один из охранников постучал в двери.

Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью ста восьмидесяти шести тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли пятьдесят немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса»:

«Ура! Ура! Явились все друзья!»

Эти пятьдесят голосистых певунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. Четыре года с лишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали.

Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут — незыблемый островок в мире умирающих русских.

Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать — как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или

украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли.

Единственным госпиталем в лагере был барак на шесть коек в самом английском блоке.

* * *

Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие.

Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер.

Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику.

Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, криббеджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду.

Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо пятидесяти по пятьсот посылок в месяц. Англичане прятали их так хит-

ро, что теперь, к концу войны, у них скопилось три тонны сахару, тонна кофе, тысяча сто фунтов шоколаду, семьсот фунтов табаку, тысяча семьсот фунтов чаю, две тонны муки, тонна мясных консервов, тысяча сто фунтов масла в консервах, тысяча шестьсот фунтов сыру в консервах, восемьсот фунтов молока в порошке и две тонны апельсинового джема.

Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы.

* * *

Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам четыре барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе, или шоколад, или табак немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует.

Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как

добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом.

И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье — для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта.

Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы ребята», обещали, что «Джерри скоро будет драпать».

Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой «Джерри».

Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой.

На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял

волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой.

Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли.

На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока.

На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка.

Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи — какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов, фашистского государства.

Такие дела.

* * *

Банкетный зал был ярко освещен этими свеча-

ми. На столах — груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках — ломти консервированного мяса. Суп, яичница н горячий пирог с повидлом ждали своей очереди.

А в дальнем конце барака Билли увидел розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгрывать гвоздь вечера — музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения, на тему одной из самых любимых сказок.

* * *

Билли Пилиграмм вдруг загорелся — он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как трут.

А Билли думал: нет ли тут телефона? Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров.

Стояла тишина: англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит.

— Да ты горишь, приятель, — сказал он и, оття-

нув Билли от печки, стал сбивать огонь руками.

И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его:

— Вы можете говорить? Вы меня слышите?

Билли кивнул.

Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал:

— Бог мои, да что же они с вами сделали? Это же не человек — это же сломанная игрушка!

— А вы и вправду американец? — спросил англичанин, помолчав.

— Да, — сказал Билли.

— А ваше звание?

— Рядовой.

— Где же ваши сапоги, приятель?

— Не помню.

— А пальто для смеху, что ли?

— Сэр?

— Где вы его выкопали?

Билли сначала подумал, потом сказал:

— Выдали мне.

— Джерри вам его выдал?

— Кто?

— Ну немцы. Выдали вам эту штуку?

— Да.

Билли надоели расспросы. Он от них устал.

— О-о, янк, янк, янк! — сказал англичанин. — Да это же оскорбление!

— Сэр?

— Они нарочно старались вас унизить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки.

Но тут Билли Пилигрим потерял сознание.

Билли пришел в себя на стуле, перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал.

Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом:

Бьют часы, ядрена мать,

Надо с бала мне бежать!

Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал — он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на шесть коек. Других больных там не было.

* * *

Билли уложили, привязали к постели и сделали

ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела.

Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфииыи рай.

От морфия Билли видел сон: жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая.

Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обиженно истекая соком.

Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему.

Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов — цвета топленых сливок и лимонада. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем

как бархатные.

Почему?

* * *

Ночь опустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плэсида, в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась три года назад.

Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьюти — фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояла высоко. В палате было еще двадцать девять больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят, уйти совсем домой, да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром.

Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора

согласились. Он действительно свихнулся.

Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что отец, когда-то бросил его в бассейн ХАМЛ, на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона.

Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя.

Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике, и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых, истрепанных книг шел запах по всей палате, как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика.

* * *

Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать.

Розуотер был вдвое умней Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в

жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил четырнадцатилетнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела.

И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем.

Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» писателя Достоевского.

— Но теперь и этого мало, — сказал Розуотер.

* * *

В другой раз Билли услыхал, как Розуотер говорил психиатру:

— По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму-тьмущую всякой потрясающей новой брехни, иначе людям станет совсем неохота жить.

На столике у Билли был целый натюрморт: две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде — один из них еще тлел — и стакан с ми-

неральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам — у них не хватало сил подняться кверху.

Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться.

И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее пахло плохо, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая темноволосая белая женщина с высшим образованием.

Она просто расстраивала Билли, потому что она — его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе.

* * *

Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказывали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина.

И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В порядке опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он. думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В порядке опыта он всех называл «дорогими».

— Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет — знаете что?

— Что же он скажет, дорогая?

— Он скажет: «Здравствуй, мамочка» — и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»

— Да, могло бы так быть и сегодня.

— Каждый вечер молюсь за него.

— Как это прекрасно!

— Люди, наверно, удивились бы, если им сказать: как много хорошего случается на свете благодаря молитве.

— Ваша правда, дорогая, ваша правда.

— А ваша матушка часто вас навещает?

— Моя мать умерла, — сказал Розуотер.

Такие дела.

— О, простите!

— По крайней мере она прожила всю жизнь очень счастливо.

— Да, это, конечно, утешение.

— Да.

— Отец у Билли тоже умер, — сказала мать Билли.

Такие дела.

— Мальчику отец необходим.

И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался как ласковое эхо.

* * *

— Он был первым учеником, когда это с ним случилось, — сказала мать Билли.

— Может быть, он переутомился, — сказал Розуотер.

В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было совсем легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении и ни один трехмерный врач-землянин никак не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог.

Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута: что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай и ад — тоже.

— Он обручен с очень-очень богатой девушкой, — сказала мать Билли.

— Это хорошо, — сказал Розуотер. — Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека.

— Конечно, могут.

— Да, вот именно, могут.

— Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош, прямо до судороги.

— Да, всегда хочется жить посвободней.

— Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли, еще у него шесть врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на озере Джордж.

— Очень красивое озеро.

Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свете «Алый знак доблести».

Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего четыре человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой воине, кому-то выдадут холостой патрон.

Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача

в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник.

— Ну, как наш пациент? — спросил он Эдгара Дарби.

— Лежит как мертвый.

— Но на самом деле он не умер?

— Нет.

— Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым.

Дарби спохватился и с унылым видом встал «смирно».

— Нет, нет, прошу вас — вольно! Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами.

Но Дарби остался стоять.

— Вы с виду старше остальных, — заметил офицер.

Дарби сказал, что ему сорок пять лет, оказалось, что он на два года старше полковника. Полковник сказал, что все американцы уже побрились и только у Билли и у Дарби остались бороды. И он еще сказал:

— Знаете, нам тут приходилось воображать — какая там идет воина, и мы считали, что в этой

войне сражаются немолодые люди вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидал эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. «Бог ты мой! — подумал я. — Да это же крестовый поход детей!»

Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загнали в заросли танки.

Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на Земле.

Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, рассказывал Дарби, из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука.

И многие люди были ранены или убиты. Такие дела.

Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не

прекратится, пока всех не убьют.

И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность.

* * *

Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежнему был с головой укрыт одеялом.

— Моя мать ушла? — спросил Билли.

— Да Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца Илиумских оптомстричсских курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в тысячу восемьсот долларов. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей.

Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услыхал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни.

* * *

Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал:

— Нет, спасибо.

Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал:

— Спасибо. Гораздо лучше.

Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет, и Билли сказал:

— Увидишь их, передай им привет.

Она обещала передать им привет.

Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли, и он сказал:

— Нет, у меня есть все, что мне нужно.

— А книжки? — сказала Валенсия.

— У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире, — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под

кроватью Элиота Розуотера.

Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.

Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое евангелие»

Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати очень похожего на тральфамадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных.

Но на самом деле Евангелие учило вот чему: прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни? Такие дела.

Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был Сыном Самого Могущественного Существа во Вселенной. Читатели это понимали, так что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали… тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух:

— «О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо».

А эта мысль рождала следующую: значит, есть те, кого надо линчевать. Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни.

* * *

Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних евангелиях.

Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду без племени.

И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния. Глас божий раскатился над землей. И бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществомсынатворцаВселенной.И Господь изрек: отныне он

покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени!

* * *

Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный Путь».

— К черту книжки, — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать.

— А книжка, кажется, интересная, — сказала Валенсия.

— О черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать! — воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килогра Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную. Только мысли были хорошие.

— По-моему, он никогда и не выезжал из Америки, — добавил Розуотер. — Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все — американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет.

— А где он живет? — спросила Валенсия.

— Никто не знает, — ответил Розуотер. — И вообще, насколько я могу судить, я — единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издатель-

ства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел.

И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.

— Благодарю вас, — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. — Билли привез его с войны.

— И в войне есть свои приятности, — сказал Розуотер. — Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок.

* * *

Кстати, о месте жительства Килгора Траута: на самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.

* * *

— Билли… — сказала Валенсия Мербл.

— М-мм?

— Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?

— Пожалуйста.

— Я остановилась на двух образцах: либо «Датский король», либо «Шток-роза».

— «Шток-роза», — сказал Билли.

— Собственно говоря, спешить не стоит, — сказала она. — Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить.

Билли еще раз посмотрел картинки.

— Ну, «Датский король», — сказал он наконец.

— «Лунный свет» тоже очень мило.

— Мило, — согласился Билли.

* * *

И Билли пропутешествовал во времени на Тральфамадор. Ему было сорок четыре года, и он был выставлен напоказ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый.

Тральфамадорцев интересовало его тело — все, целиком. Тысячи жителей Тральфамадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфамадоре шесть земных месяцев. Он привык к толпе.

О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистейшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446120000000000000 миль.

Билли был выставлен в зоопарке, в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове.

Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Был там и стенной бар, и к нему две табуретки. И маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы.

Был там и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал. А телевизор — нет. На экране была прилеплена картинка — один ковбой убивает другого. Такие дела.

Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг.

* * *

Билли вычистил зубы на Тральфамадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверце холодильника была нарисована картинка.

Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых девяностых годов, на

двойном велосипеде.

Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке. Но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было абсолютно нечего.

* * *

Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку, и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии: прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу.

После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне, на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем.

Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которому он пере-

давал Билли вопросы из публики.

Прозвучал первый вопрос — его передал репродуктор на телевизоре:

— Вам тут хорошо?

— Не хуже, чем на Земле, — сказал Билли Пилигрим, и это была правда.

Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении.

Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Западе. Они сказали, что команды их летающих блюдец обнаружили не меньше семи различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли даже представить себе не мог, что же это еще за пять из семи половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении.

Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет

гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рождаться не могли. А без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее.

Для Билли все это было сплошным бредом.

* * *

Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это.

Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение.

И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут смотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находится несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один-единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому

глазку приварена шестифутовая трубка.

И это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он еще был привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку.

Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится.

А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымалась в гору, катилась вниз, заворачивала; ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить: «Это жизнь».

* * *

Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне, с их жестокостью и мощным вооружением, не разрушили часть, а может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика.

Но никаких разговором о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре. И Билли ответил:

— Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я — с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьниц, сожженных заживо в водонапорной башне моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. — И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. — И я по вечерам проходил по тюрьме со свечкой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьниц. Наверно, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян! И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?

Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста: видно,

он опять наговорил глупостей.

* * *

— Вы… Вы не можете мне объяснить, — упавшим голосом спросил Билли, — что я такого глупого сказал?

— А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная, — сказал экскурсовод, — и Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет.

— А как, а как же погибнет Вселенная? — спросил Билли.

— Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюдец.

Летчик-истребитель на Тральфамадоре нажмет кнопку — и вся Вселенная исчезнет. Такие дела.

* * *

— Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?

— Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента.

— Но тогда… — Билли замялся, — значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны

на Земле?

— Конечно.

— Но у вас-то на планете мир?

— Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное — вот как сегодня, в зоопарке.

Правда, сейчас все так приятно?

— Да.

— Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимание на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах.

— Гм, — сказал Билли.

* * *

Этой ночью, как только Билли заснул, он попутешествовал во времени к довольно приятному моменту — это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя. Он совсем выздоровел. И он окончил Илиумские оптометрические курсы — третьим из сорока семи

учащихся своего выпуска.

И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-Анн, в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим — впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых «зеленых беретов».

Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой Первой, а Билли как будто был Христофором Колумбом.

* * *

Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя Валенсии, внеся свою лепту в создание «зеленого берета». Правда, по тральфамадорским понятиям, у «зеленого берета» в общем и целом было семь родителей.

Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он

ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый «бьюик», сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером.

Как сказала его мать: «Пилигримы пошли в гору».

Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В домике новобрачных одна стена была особенно романтичной — целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива.

Зеленая с оранжевым баржа, чернея в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом, всего футах в тридцати от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым, звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа

уже ушла.

— Спасибо, — сказала наконец Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком.

— На здоровье.

— Мне так хорошо.

— Очень рад.

И тут она заплакала.

— Что с тобой?

— Я так счастлива.

— Прекрасно.

— Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится.

— Гм-ммм, — сказал Билли Пилигрим.

— Буду ради тебя худеть, — сказала она.

— Что?

— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой — для тебя.

— А ты мне и так нравишься.

— Правда?

— Правда, — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной.

Громадная моторная яхта под названием «Шехерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни

горели.

Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, урожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайаннисе, штат Массачусетс.

Получилось некоторое совпадение: Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфоддом, официальным историком военно-воздушных сил США.

* * *

Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли.

* * *

— Иногда, — сказал Билли Пилигрим.

— А я иногда смотрю на тебя, — сказала Валенсия, — и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн, — Вовсе нет, — сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфамадоре и так далее.

— Нет, у тебя, наверно, есть тайны про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить.

— Нет.

— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?

— Прекрасно.

— Плохо там было?

— Всякое бывало. — У Билли мелькнула дикая мысль: как это верно! Хорошая была бы эпитафия для Билли Пилигрима. И для меня тоже.

— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу? — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания «зеленого берета».

— Будет похоже на сон, — сказал Билли. — А чужие сны обычно слушать не очень интересно.

— Я слышала, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли, — сказала Валенсия. Она говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.

— Угу.

— И тебе пришлось его хоронить?

— Да.

— А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?

— Да.

— А он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Он боялся?

— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.

— А они прилепили к нему мишень?

— Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста» и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете.

* * *

Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с

койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную.

Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли пытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли без толку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны.

Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом.

А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски:

— Счастливо!

* * *

Билли снова расстегнул штаны и в темноте

лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся как попало и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти?

Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал: какая трагедия заставляет стольких людей так громко стонать где-то на дворе?

Сам того не зная. Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с двенадцатью ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет.

Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая — та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми толь был прибит к стенке бара-

ка. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слыхал.

Вот что было написано на объявлении:

ПРОСЬБА
СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ
И НЕ ОСТАВЛЯТЬ
ПОСЛЕ СЕБЯ БЕСПОРЯДКА

Вилли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты.

Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал:

— Ох, и они выходят, и они.

«Они» были его мозги.

Это был я. Лично я. Автор этой книги.

* * *

Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на

этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.

— Застегнитесь как следует, — сказал один из них, когда Билли проходил мимо.

И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак.

Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.

— Мне без тебя скучно, — сказала Валенсия.

— А мне без тебя, — сказал Билли.

Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки, и Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илиум. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы.

Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом, и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул,

раскинув ноги, у входа в вагон-ресторан.

Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илиум. Билли вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон.

— Что, выспался? — спросил проводник.

— Да, — сказал Билли.

— Ну, братец, — сказал проводник, — видно было, что тебе снилось…

В три часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста.

Это был Поль Лаззаро, прыщавый вор из города Цицеро, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина.

Англичанин со сна сломал Лаззаро правую руку и едва не вышиб из него дух.

Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперетте он играл Голубую Фею — крестную Золушки.

Сейчас он одной рукой поддерживал Лаззаро с одного конца, а другой закрывал двери.

— Весу в нем, как в цыпленке, — сказал он.

Англичанин, державший Лаззаро за ноги, был

тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия.

Голубая Фея был ужасно смущен, хотя и очень зол.

— Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче, — сказал он.

— Угу.

Голубая Фея не стал скрывать свое отвращение к американцам.

— Слабые, вонючие, себя жалеют — ну просто сопливое, грязное, гнусное ворье, — сказал он. — Куда хуже этих русских, черт подери.

— Да, погань порядочная, — согласился полковник.

* * *

Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями.

Почти ежедневно он заходил к ним. играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что, если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще.

Он очень извинялся, что пришлось англичанам

навязать американских рядовых. Он обещал, что больше двух-трех дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмбл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник.

Такие дела.

* * *

Пока английский полковник вправлял руку Лаззаро и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмбла. Когда-то Кэмбл был довольно преуспевающим драматургом.

Начиналась монография так:

Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббар-

да, «бедность не позор, но большое свинство». Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка, в сущности, нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд нищие американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони, его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы.

* * *

Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шепектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела.

* * *

Американцы, как и все люди во всех странах, — говорилось дальше в монографии, — верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, — это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть.

Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они своим беднякам могли оказывать, как частным, так и государственным путем, меньше помощи, чем любой правящий класс примерно со времен Наполеона.

Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских, рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным.

* * *

Говард У. Кэмбл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во второй мировой воине:

Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы, они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в продезинфицированном, но неглаженом виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб.

И когда одетый с иголочки офицер обращается к выряженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами, и только сами, виноваты в своей нищете.

Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь: не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше бы ему умереть.

* * *

Кэмбл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену.

Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмбл. Они презирали любого из своей среды, кого бы не назначили старшим, отказывались подчиняться ему по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается.

Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Илиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты.

* * *

— Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара. Был опять 1968 год.

— Конечно. — Но он дремал.

— Если ты будешь вести себя как ребенок, нам и обращаться с тобой придется как с маленьким.

— Нет, дальше все будет по-другому.

— Посмотрим, что будет дальше. — Толстая Барбара обхватила себя руками. — Тут страшный холод. Тепло идет?

— Тепло?

— Ну, отопление, эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда в батареи. По-моему, она не работает.

— Все возможно.

— Разве тебе не холодно?

— Как-то не заметил.

— О боже, ты и вправду ребенок. Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду. И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.

Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он полежит под электрическим одеялом, пока не пустят отоп-

ление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб.

Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в тральфамадорский зоопарк. Ему только что доставили с Земли самочку.

Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда.

* * *

Монтану усыпили. Тральфамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне.

На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит.

* * *

Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты, — Где я? — спросила она.

— Все в порядке, — ласково сказал Билли. — Пожалуйста, не пугайтесь.

Пока Монтану везли с Земли, она была без сознания. Тральфамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс, в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего двадцать лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке, оно спускалось между грудями.

Тут она повернула голову и увидала мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки.

И Монтана завизжала. Она визжала не умолкая.

* * *

Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри.

Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из шестидесяти двух.

Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до

бомбежки.

* * *

Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет.

Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее, что он и сделал. Это было упоительно.

* * *

И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправят отопление.

Кто-то постучал в дверь его спальни.

— Да? — сказал Билли.

— Я истопник.

— Да?

— Работает отлично. Тепло пошло хорошо.

— Прекрасно.

— Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате.

— Да ну? Вот чертовщина!

Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.

* * *

Утром, после соблазнительного сна. Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике.

Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили двенадцатилетнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли расспросил про их жизнь, узнал, что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакто. Такие дела.

* * *

Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты и мальчик тогда его увидит.

— Разве это не утешительно? — спросил его Билли.

А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его:

— Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?

Глава 6

Послушайте.

Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно прилаженной двери. Маленький Поль Лаззаро со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой, Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете.

Но как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма.

От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры.

Животный магнетизм исходил от чего-то за

спиной Билли. Если бы Билли попросили угадать, что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир.

Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и, чего доброго, выцарапает глаза или откусит его длинный нос. И он обернулся.

Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь. Но это было пальто покойного импресарио, с меховым воротником. Оно висело на гвоздике.

Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации.

Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину. Другой по форме напоминал крошечную подковку. Через радиацию, исходившую от этих комков. Билли получил указание.

Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовольствоваться сознанием, что комки могут делать для него

чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он был благодарен. Он был рад.

* * *

Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о Голгофе, — сильные люди копали ямы для столбов в твердой как камень земле. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром — тем бараком, где устраивали праздничную встречу.

Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы.

Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной Голубой Феи, тот, кто избил маленького Поля Лаззаро. Он остановился у койки Лаззаро и спросил, как он себя чувствует.

Лаззаро сказал, что после войны он его убьет.

— Да ну?

— Большую ошибку допустили, — сказал Лаззаро. — Кто меня тронул, уж лучше бы сразу убил, не то я его убью.

Голубая Фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лаззаро.

— Но я еще успею тебя убить, — сказал он, — если ты мне докажешь, что так будет правильнее.

— Иди ты знаешь куда!

— Напрасно думаешь, что я и там не побывал! — сказал Голубая Фея.

* * *

Голубая Фея ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лаззаро пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка.

— Слаще ничего на свете нет, — сказал Лаззаро. — Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать! Пожалеют, мать их, а я только захохочу во всю глотку! Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну. Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом.

— С каким псом? — спросил Билли.

— Укусил меня, сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал

я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс — в самую середину. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня — укусить хочет. А я ему говорю:

«Брось, песик, давай дружить. Зачем нам ссориться! Я на тебя не сержусь!» Он и поверил.

— Поверил?

— Да, я ему бифштекс бросил. Он его одним глотком слопал. А я постоял, подождал минут десять. — Глазки Лаззаро заморгали. — У него сразу кровь из пасти пошла. Как взвоет, так по земле и покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить.

А я хохочу, я ему говорю: "Правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки.

Это я там у тебя в нутре сижу, с ножичками, понял?"

Такие дела.

— Спросят вас, что самое приятное на свете, — сказал Лаззаро, — вы так и говорите: месть.

* * *

Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лаззаро совсем не радовался. Он сказал, что

с немцами ему делить нечего. И еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лаззаро не тронет человека, ежели тот его не обидел».

* * *

Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лаззаро, не собирается ли он и англичанину, Голубой Фее, скормить бифштекс с пружинами?

— Дерьма, — сказал Лаззаро.

— А он роста немалого, — сказал Дарби, который и сам был немалого роста.

— Рост тут ни при чем, — сказал Лаззаро.

— Пристрелишь его, что ли?

— Его за меня пристрелят, — сказал Лаззаро. — Вернется он домой с войны.

Герой будет, как же. Дамочки на него вешаться станут. Устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день — стучат! Открывает он дверь — а там стоит незнакомый человек. И спрашивает его: «Вы тот самый?» — «Да, скажет, я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лаззаро». И вытащит револьвер, и прямо ему в пах выстрелит. И даст ему минутку

подумать: кто такой Лаззаро и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот.

Такие дела.

Лаззаро сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за тысячу долларов плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен.

Дарби спросил его, кто же там, в этом списке, и Лаззаро сказал:

— Главное, смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все. — И, помолчав, Лаззаро добавил:

— И дружков моих не трогай.

— А у тебя есть дружки? — поинтересовался Дарби.

— Тут, на войне? — сказал Лаззаро. — Да, был у меня и на войне друг. Был, да помер.

Такие дела.

— Это плохо.

Лаззаро сверкнул глазами:

— Да. Он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири. — Тут он ткнул в Билли здоровой рукой:

— А помер он из-за дурака этого, мать его. Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны

прикончу.

Лаззаро отмахнулся от Билли: никаких слов не надо.

— Забудь про это, малый, — сказал он. — Живи, радуйся, пока живешь.

Ничего с тобой не случится лет пять, десять, а то и пятнадцать, двадцать.

Только я тебя предупреждаю: услышишь звонок — пошли кого другого открывать.

Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофоне, как это будет. По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его завещанием и другими ценностями в его сейфе, в Илиумском торгово-промышленном банке:

Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать 13 февраля 1976 года.

В момент своей смерти, говорит Билли Пилигрим, он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Илиуме; чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь три международные границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских

государств: их разделят на двадцать малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново.

Билли выступает перед полным залом, на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развевается за его спиной. На зеленом поле флага красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику — пусть смеются вместе с ним.

— Мне давным-давно пора умереть, — говорит он. — Много лет назад, — говорит Билли, — один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу.

Толпа в зале шумно протестует.

Билли Пилигрим с укором говорит:

— Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам говорил. — И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои

выступления: «Прощайте-здравствуйте, прощайте-здравствуйте!»

Он сходит с трибуны, и его окружает полиция. Она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьверы наготове.

— Нет, нет, — безмятежно говорит Билли. — Вам пора по домам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить.

В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле меж волосками мощного лазерного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг — и Билли Пилигрим мертв. Такие дела.

И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет.

* * *

А потом он снова возвращается в жизнь, далеко назад, в тот час, когда Лаззаро погрозился убить его, — в 1945 год. Ему приказали встать

с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лаззаро, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего — тайным голосованием.

* * *

Билли, Лаззаро и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту. Он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину «Герои 76-го года».

Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров и пусть она не волнуется: война почти что кончилась и скоро он вернется домой.

Лаззаро бормотал себе под нос, как он после войны будет подсылать убийц к разным людям и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет.

Если бы он был собакой и бегал по городу, полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию проверить — бешеный он или нет.

Такие дела.

Когда они подходили к театру, они увидали, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секцией блока. И Билли, и Лаззаро, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства.

* * *

Пол театрального барака был устлан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытьи. Сухая судорога сводила их кишки.

— Закрой двери, мать твою… — сказал кто-то. — В сарае ты родился, что ли?

Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку. Печка была холодная как лед. На сцене все еще стояли декорации к «Золушке». Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых арок. Золотые троны стояли под макетом часов, и стрелки показывали двенадцать. Золушкины туфельки — на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, — валялись под золотым троном.

Когда англичане раздавали тюфяки и одеяла.

Билли, и бедный старый Эдгар Дарби, и Лаззаро лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось.

Пришлось что-то придумывать. Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда.

Свернувшись в своем лазоревом гнезде. Билли вдруг увидал серебряные Золушкины сапоги под троном. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему необходимы. Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их.

Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом.

* * *

Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы. Половина американцев их проспала.

Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком:

— Господа, господа, господа, прошу внимания! — И так далее.

В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить:

— Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете. — Он еще сказал, что видел, как люди умирали:

— Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только сказать одно в их защиту: уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно.

Такие дела.

* * *

Англичанин еще сказал, что, попав в плен, он дал себе такое обещание: чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой и после уборной, раз в день чистить сапоги, по крайней мере полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться.

Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина, а на его сапоги.

— Я завидую вам, господа, — сказал англича-

нин.

Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного.

— Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный город, как мне говорили. Вы не будете сидеть взаперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверно, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое чисто личное отступление: уже пять лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбежки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника.

* * *

Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт.

— Единогласно?

Послышалось два-три голоса:

— Да-а…

И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы, обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они, как один, черт возьми, благополучно добрались домой.

— Попробуй уконтрапупь бублик на лету, — пробормотал Лаззаро в своем лазоревом гнезде, — а заодно и луну в небе.

Ко всеобщему удивлению, температура назавтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на двух каталках — их тянули русские.

Англичане прислали настоящий кофе, и сахар, и апельсиновый джем, и сигареты, и сигары, а двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло.

Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час. отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие.

Теперь на нем были серебряные сапоги, и муф-

та, и кусок лазоревой портьеры, в которую он завернулся, как в тогу. Билли все еще не сбрил бороду. Не побрился и бедный старый Эдгар Дарбп, который вышагивал рядом с Билли. Дарби мысленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами:

"Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся.

Бомбить его никогда не будут. Дрезден — открытый город. Сегодня днем у нас были выборы, и угадай, кого..."

И так далее.

* * *

Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в двух вагонах.

Теперь они отправлялись куда комфортабельнее — в четырех. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он умостился средь угольной пыли, в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела.

* * *

Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего часа два. В сморщенных желудках было полно пищи. Лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева.

Американцы прибыли в Дрезден в пять часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город — такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами, сказочный, не правдоподобный город. Билли Пилигрим вспомнил картинку в воскресной школе — «Царствие небесное».

Кто-то сзади него сказал: «Страна Оз»[4]. Это был я. Лично я. До тех пор я видел один-единственный город — Индианаполис, штат Индиана.

Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда

[4] notes: 4

«Мудрец из страны Оз» — известная детская сказка о волшебной стране американского писателя Лимана Франка Баума.

направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела.

Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи.

Свет зажигался и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры.

Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты.

В это время люди шли домой с работы. Они устали.

Восемь дрезденцев перешли через стальную лапшу рельсов к вагонам. На них было новое обмундирование. Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки, и пожилые люди, и два инвалида, жутко израненные в России. Им было предписано охранять сто американских военнопленных, назначенных на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором.

Все восемь, сердито хмурясь, подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких, нахальных

разбойников — американцев, убийц, только что явившихся с фронта.

И тут они увидали бородатого Билли Пилигрима в лазоревой тоге и серебряных сапогах, с руками в муфте. С виду ему было лет шестьдесят. Рядом с Билли стоял маленький Поль Лаззаро, кипя от бешенства. Рядом с Лаззаро стоял бедный старый учитель Эдгар Дарби, весь исполненный унылого патриотизма, немолодой усталости и воображаемой мудрости. Ну и так далее.

Восемь нелепейших дрезденцев наконец удостоверились, что эти сто нелепейших существ и есть те самые американские солдаты, недавно взятые в плен на фронте. Дрезденцы стали улыбаться, а потом расхохотались. Их страх испарился. Бояться было некого. Перед ними были такие же искалеченные людишки, такие же дураки, как они сами. Это было похоже на оперетку.

* * *

И опереточное шествие вышло из ворот железнодорожной станции на улицы Дрездена. Билли Пилигрим был главной опереточной примадонной. Он возглавлял парад. Тысячи людей шли по тротуарам домой с работы. Лица у них были водяночные, распухшие — в течение двух лет

люди ели почти что одну картошку.

Они шли, не ожидая никаких радостей, кроме мягкой погоды. И вдруг — такое развлечение.

Билли не замечал, что на него смотрят во все глаза, забавляясь его видом. Он был восхищен архитектурой города. Веселые амурчики обвивали гирляндами окна. Лукавые фавны и нагие нимфы глазели с разукрашенных карнизов. Каменные мартышки резвились меж свитков, раковин и стеблей бамбука.

Уже помня будущее, Билли знал, что город будет разбит вдребезги и сожжен примерно дней через тридцать. Знал он и то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела.

И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импресарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки: один походил на горошину, другой — на маленькую подкову. Тут парадное шествие остановилось. Семафор загорелся красным светом.

* * *

На углу, в первом ряду пешеходов, стоял хирург,

который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но щеголял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли — американец. Хирургу казалось, что Билли — отвратительный кривляка, что он нарочно постарался вырядиться таким шутом.

Хирург говорил по-английски и сказал Билли:

— Очевидно, война вам кажется забавной шуткой? Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он н как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила Судьба. Судьба и слабое желание выжить.

— Вы хотите нас рассмешить? — спросил хирург.

Хирурга надо было как-то ублаготворить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу.

— Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое издевательство? — сказал хирург. — Не-

ужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?

Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в два карата и половинка искусственной челюсти. Эта непристойная штучка была сделана из серебра с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался.

* * *

Шествие, хромая, спотыкаясь и сбивая шаг, подошло к воротам дрезденской бойни. Пленных ввели во двор. Бойня уже давно не работала. Весь скот в Германии давно уже был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела.

Американцев повели в пятое здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, две пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник — дощатый заборчик, за ним ведра.

На двери здания стояла огромная цифра. Это

был номер пять. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой: «Шлахтхоф фюнф». «Шлахтхоф» значило «бойня».

«Фюнф» была попросту добрая старая пятерка.

Глава 7

Двадцать пять лет спустя Билли Пилигрим сел в Илиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, по говорить об этом не хотел: зачем зря трепаться? Самолет вез Билли с двадцатью восемью другими оптометристами на конференцию в Монреаль.

Жена Билли, Валенсия, осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни.

Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфамадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами.

На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком.

Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей — тоже оптометрпстов. Они называли себя «чэпы», что означало «четырехглазые подонки».

Когда самолет уже был в воздухе, машина-тесть

Билли попросил квартет спеть его любимую песенку. Они знали, что он просил, и спели ему такие куплетики:

Снова я сижу в тюрьме,
Снова по уши в дерьме,
И болят, болят различные места.
Я кляну свою судьбу,
Ох, увидеть бы в гробу
Эту стерву, что кусалась неспроста.

И тесть Билли гоготал как сумасшедший и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку. И квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков:

Вместе в шахте, Майк и я,
Закадычные друзья,
Уголек загребай,
Раз в неделю погуляй!

Кстати, о поляках: дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу.

Поляк работал на ферме, и его повесили за связь

с немецкой женщиной. Такие дела.

* * *

Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно, в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с «тремя мушкетерами». Роланд Вири тряс его, стукал его головой о дерево.

— Идите без меня, ребята, — говорил Билли Пилигрим.

* * *

Квартет на самолете пел: «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш, в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела.

Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы — инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей, для смеху наряженных неграми.

Билли был ранен в голову, но сознания не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него ше-

велились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними.

Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес:

«Шлахтхоф фюнф».

* * *

Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножия тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь, в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап второй мировой войны. Но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично.

Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и три часа оперировал Билли. После операции Билли два дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых

кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени.

Правдивым событием был и первый вечер на территории боен. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню, за ужином для всех. Их охранял шестнадцатилетний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела.

Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем, у праздных боен. Город был в затемнении — вдруг начнется налет, — в Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины — как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки.

А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба.

* * *

Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли, даже мог сойти за его младшего брата.

Да, впрочем, они и были дальними родственниками, только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось.

Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось тридцать с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами.

Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно как на ладони. А в дверях как вкопанные остановились Глюк, и Дарби, и Билли Пилигрим: мальчишка-солдат, и бедный старый школьный учитель, и шут в лазоревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее и стали еще прекрасней.

Вернер Глюк никогда раньше не видел голых

женщин и сразу закрыл двери.

Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.

* * *

Когда эти три дурака наконец нашли кухню — раньше там готовили еду для рабочих бойни, — все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. В войну она овдовела. Такие дела. На ней уже было и пальто и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком на обитой жестью буфетной стойке.

Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и груду черного хлеба.

Она спросила Глюка: не слишком ли он молод для армии? Он согласился: да.

Она спросила Эдгара Дарби: не слишком ли он стар для армии? Он сказал: да.

Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился. Билли сказал: не знаю. Просто стараюсь согреться.

— Все настоящие солдаты погибли, — сказала она. И это была правда. Такие дела.

* * *

Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину — себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запечатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам.

У сиропа был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа. А другие американцы ели.

Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду — за стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением.

На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со стынущим сиропом. Видеть Билли мог только один человек — бедный старый Эдгар Дарби, ко-

торый мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, покрутил, так что вышла липкая тянучка. И сунул ложку в рот.

И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности.

В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу.

Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко. Он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби. И вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.

Глава 8

За два дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард У. Кэмбл, американец, ставший нацистом.

Этот самый Кэмбл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойни вербовать американцев в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмбл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте.

Внешность у Кэмбла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле.

Нарукавная повязка была ярко-красного цвета, с синей свастикой в белом круге.

И сейчас, в цементном загоне для свиней, он объяснял значение этой нарукавной повязки.

Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глазах выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно искажали образ Кэмбла.

— Синий цвет — это небо Америки, — объяснял Кэмбл, — белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубила леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролитая в минувшие годы.

* * *

Сон сморил слушателей Кэмбла. Они крепко поработали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились. Кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало и витаминов, и минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли.

Кэмбл стал предлагать американцам всякую еду: бифштексы с картофельным пюре с подливкой, мясные пироги — все будет, как только они согласятся вступить в «Свободный американский корпус».

— А как только разобьем русских, вас репатриируют через Швейцарию.

Все молчали.

— Все равно, раньше или позже вам придется драться с коммунистами, — сказал Кэмбл. — Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?

* * *

И вдруг выяснилось, что Кэмблу эти слова даром не пройдут — Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги — и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди в конце концов разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем.

Он стоял как боксер, оглушенный ударами. Он

наклонил голову. Он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом поднял голову и назвал Кэмбла гадюкой. Тут же поправился: гадюки, сказал он, никак не могли не родиться гадюками, а Кэмбл, который мог не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки, или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови.

Кэмбл только усмехнулся.

И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу, и справедливость, и всяческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы.

Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозится заразить весь мир.

И тут жалобно завыли дрезденские сирены.

* * *

Американцы вместе со своей охраной и с Кэмблом ушли в убежище — в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале, под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу.

Внизу, в подвале, на крюках еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще тысячи туш. Холод там был естественный. Никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбелен и пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку.

Говард У. Кэмбл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хельге Норт. Она была убита в гастрольном турне — развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела.

* * *

В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно сто тридцать тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ.

«Отец, — говорила она, — что нам с тобой де-

лать?» И так далее. «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута»

Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических романов, и, конечно. Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом, насколько можно было стать другом Траута, человека очень угрюмого.

* * *

Траут снимал подвал в Илиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал — наверное, штук семьдесят пять. Денег ни одна из них ему не принесла. И теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением «Илиумского вестника», и ведал оравой мальчишек-газетчиков: он их и запугивал, и подлизывался к этим ребятишкам.

Впервые Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем «кадиллаке» по переулку Илиума и увидал, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он и робел перед ними, и поругивал их, и, как

видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было шестьдесят два года.

Он говорил ребятам, что — тут шли нецензурные слова — нечего просиживать штаны зря, надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение. Он говорил: кто за два месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога, на самый Мартас-Винъярд.

И так далее.

Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов.

* * *

Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой — он видал ее на обложке стольких книжек… Но, увидев это лицо случайно в переулке родного города. Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал: а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене. Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных.

Тут девчонка-газетчик подняла руку.

— Мистер Траут — сказала она, — а если я вы-

играю, можно мне взять с собой сестренку?

— Черта с два, — сказал Траут. — Думаешь, деньги растут на деревьях?

Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли двадцатидолларовые бумажки, вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей, они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола, и отлично удобряли землю своими трупами.

Такие дела.

* * *

Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания.

Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу — и трудно, и времени отнимает много, и платят мало. Траут забеспокоился: если мальчишка и впрямь уйдет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик.

— Ты кто такой? — спросил Траут презрительно. — Тоже мне, чудо без кишок.

Кстати, так называлась одна книжка Траута — «Чудо без кишок». В ней описывался робот,

у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного желеобразного газолина для сжигания человеческих существ.

Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле.

Ведущий робот Траута выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды.

* * *

Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил:

— Начать-то они начали, да, наверно, через неделю бросили: больно уж вшивая работка!

И мальчишка кинул к ногам Траута сумку с

газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разнести эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак.

Где-то лаял огромный пес.

Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли:

— Мистер Траут?

— Да?

— Вы… Вы — Килгор Траут?

— Да. — Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого.

— Вы… Вы — тот писатель?

— Кто?

Билли был уверен, что ошибся.

— Есть такой писатель — Килгор Траут.

— Такой писатель? — Лицо у Траута было растерянное, глупое.

— Вы никогда о нем не слыхали?

Траут покачал головой:

— Никто никогда о нем не слыхал.

* * *

Билли помог Трауту развезти газеты, объехал с ним всех подписчиков в своем «кадиллаке». Все делал Билли — находил дом, проверял адрес. Траут совершенно обалдел. Никогда в жизни он не встречал поклонника, а Билли был таким горячим его поклонником.

Траут рассказал ему, что никогда не видел своих книг в продаже, не читал рецензий, не видал рекламы.

— А ведь все эти годы я открывал окно и объяснялся миру в любви.

— Но вы, наверно, получали письма? — сказал Билли. — Сколько раз я сам хотел вам написать. Траут поднял палец:

— Одно!

— Наверно, очень восторженное?

— Нет, очень сумасшедшее. Там говорилось, что я должен стал Президентом земного шара.

Оказалось, что автором письма был Элиот Розуотер, приятель Билли по военному госпиталю около Лейк-Плэсида. Билли рассказал Трауту про Розуотера.

— Бог мой, а я решил, что ему лет четырнадцать, — сказал Траут.

— Нет, он взрослый, был капитаном на войне.

— А пишет как четырнадцатилетний, — сказал Килгор Траут.

* * *

Через два дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал восемнадцатилетие со дня своей свадьбы. И сейчас веселье было в самом разгаре.

В столовой у Билли Траут поглощал один сандвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией. И только он один не носил очков. Он пользовался большим успехом. Всем льстило, что среди гостей — настоящий писатель, хотя книг его никто не читал.

Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго».

Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены, — белая атласная коробочка, в ней — кольцо с сапфиром. Кольцо стоило восемьсот долларов.

* * *

Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги, оно опьяняло его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально.

— Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо, — сказала Мэгги.

— Все мы чего-нибудь боимся, — ответил Траут. — Я, например, боюсь рака, крыс и доберман-пинчеров.

— Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша книжка самая знаменитая?

— Роман про похороны прославленного французского шеф-повара, — ответил Траут.

— Как интересно!

— Его хоронили все самые знаменитые шеф-повара мира. Похороны вышли прекрасные, — сочинял Траут на ходу. — И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела.

* * *

— А это действительно было? — спросила Мэгги Уайт. Женщина она. была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн — делать с ней детей. Стоило любому мужчине взглянуть на нее — и ему

немедленно хотелось начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка. Контролировать рождаемость она умела.

— Ну конечно, было, — уверил ее Траут. — Если бы я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же мошенничество.

Мэгги ему поверила.

— Вот уж никак не думала, — сказала она.

— А вы подумайте!

— И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности.

— Точно. Тот же параграф закона.

— Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке нас всех?

— Все, что со мной бывает, я описываю в книжках.

— Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь.

— Совершенно верно. А кроме того, не я один вас слышу. Бог тоже слушает нас, И в Судный день он вам напомнит все, что вы говорили, и все, что вы делали. И если окажется, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет очень плохо, потому что вы будете гореть на вечном огне. А гореть очень больно, и конца этому нет.

Бедная Мэгги стала серого цвета. Она и этому поверила и просто окаменела.

Килгор Траут громко захохотал. Икринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги.

* * *

Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить за здоровье Билли и Валенсии, в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов, «чэпы», пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели. Квартет пел старую песню «Мои дружки».

«Где вы, где вы, старые друзья, — пелось в песне, — за встречу с вам все отдал бы. я» — и так далее. А под конец там пелось: «Прощайте навек, дорогие друзья, прощай навеки, подруга моя, храни их господь…» — и так далее.

Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал, и все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды — сначала нарочито унылые, кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты — сладкий до удушья аккорд, и снова — несколь-

ко аккордов, кислых до оскомины. И на душу и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо перекосилось, словно его и на самом деле пытали на так называемой дыбе.

* * *

Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что у Билли сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло.

Все умолкли.

— Боже мой! — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. — Билли, тебе плохо?

— Нет.

— Ты ужасно выглядишь.

— Ничего, ничего, я вполне здоров. — Так оно и было, только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца. И вдруг оказалось, что где-то внутри в нем скрыто что-то таинственное, непонятное, и он не мог представить себе, что это такое.

Гости оставили Билли в покое, увидев, что блед-

ность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоявший поблизости Килгор Траут и пристально, с любопытством посмотрел на него.

— У тебя был такой вид, как будто ты увидел привидение, — сказала Валенсия.

— Нет, — сказал Билли. Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами, в бездумной тоске извлекающих то кислые, то сладкие звуки.

— Можно высказать предположение? — спросил Килгор Траут. — Вы заглянули в окно времени.

— Куда, куда? — спросила Валенсия.

— Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно я говорю?

— Нет, — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда кончится пенье и все будут на них смотреть. А теперь на них смотрел один Килгор Траут.

— Это мне? — сказала Валенсия.

— Да.

— Ах, боже мой! — сказала она. И еще громче:

— Ах, боже мой! — так, что услышали все го-

сти.

Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром.

— О боже! — повторила она. И крепко поцеловала Билли. — Спасибо тебе, спасибо! Большое спасибо! — сказала она.

* * *

Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за все эти годы.

— Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант, только в кино такие и увидишь. — Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны.

Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонок. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки. Они стоили больше ста долларов. Сделаны они были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые и в самом деле крутились. А в другой паре на одной запонке был настоящий термометр, а на

другой — настоящий компас…

* * *

Билли обходил гостей, и вид у него был совершенно нормальный. Килгор Траут шел за ним как тень — ему очень хотелось узнать, что померещилось или увиделось Билли. В своих романах Траут почти всегда писал про пертурбации во времени, про сверхчувственное восприятие и другие необычайные вещи. Траут очень верил во все это и жадно искал подтверждения.

— Вам не приходилось класть на пол большое зеркало, а потом пускать на него собаку? — спросил Траут у Билли.

— Нет.

— Собака посмотрит вниз и вдруг увидит, что под ней ничего нет. Ей покажется, что она висит в воздухе. И как отскочит назад — чуть ли не на милю!

— Неужели?

— Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе.

Квартет любителей снова запел. И снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у

Билли опять защемило внутри:

Хлопок десять центов,
Мясо-сорок шесть,
Человеку бедному
Нечего есть.
Просишь солнца с неба,
А с неба хлещет дождь,
От такой погодки
И впрямь с ума сойдешь.
Выстроил хороший
Новый амбар,
Выкрасил славно,
Да съел его пожар.
Хлопок десять центов,
А чем платить налог?
Спину сломаешь,
Собьешься с ног…

Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома.

Килгор Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: не надо.

Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли

крепко запер дверь, света он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын.

— Папа? — спросил сын в темноте. Роберту, будущему «зеленому берету», было тогда семнадцать лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо.

Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего.

Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны.

Через плечо, на ленте, у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел, впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета.

— Привет, сынок, — сказал Билли Пилигрим.

* * *

Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было бы занимать гостей внизу. Он лег на кровать, включил «волшебные пальцы». Матрас стал вибрировать и спугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу.

Билли сосредоточенно думал, почему этот

квартет так на него подействовал, и наконец установил, какие ассоциации с очень, давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что.

Он был внизу, в холодном подвале, в ту ночь, когда разбомбили Дрезден.

Наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем.

Только изредка с потолка осыпалась известка. Внизу не было никого, кроме американцев, четырех человек из охраны и нескольких туш. Остальные четыре охранника, еще до налета, разошлись по домам, в семейный уют. Сейчас их убивали вместе с их семьями.

Такие дела.

Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоком убежище, в другом конце боен.

Такие дела.

Один из охранников то и дело поднимался по лестнице — посмотреть, что там делалось снаружи, потом спускался и перешептывался с

другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть.

До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом.

Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на Луну — одни минералы. Камни раскалились. Вокруг была смерть.

Такие дела.

* * *

Охранники инстинктивно встали в ряд, глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов, их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов. «Прощайте навек, дорогие друзья, — словно пели они, — прощай навеки, подруга моя, храни их господь…»

— Расскажи мне что-нибудь, — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в тральфамадорском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел.

Ночной полог закрывал купол. Монтана была

на седьмом месяце, большая, розовая, и время от времени лениво просила Билли что-нибудь для нее сделать.

Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой, потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое короткое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет.

Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде, или попросить, как сейчас:

— Расскажи мне что-нибудь. Билли, миленький.

— Дрезден был разрушен в ночь на тринадцатое февраля 1945 года, — начал свой рассказ Билли Пилигрим. — На следующий день мы вышли из нашего убежища. Он рассказала Монтане про четырех охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении боен, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна, он рассказал ей, как везде валялось что-то, похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела.

Билли рассказал ей, что случилось со зданиями,

которые возвышались, словно утесы, вокруг боен. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, и камни обрушились, сшиблись и наконец застыли живописной грядой.

— Совсем как на Луне, — сказал Билли Пилигрим.

* * *

Охрана велела американцам построиться по четыре, что они и выполнили.

Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности.

Так они и сделали.

Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидали, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча.

О чем тут было говорить? Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело.

Людям оставаться на Луне не полагалось.

И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть — не движется ли что-нибудь внизу. Они увидали Билли и его спутников. Самолет полил их из пулемета, по пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их полили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела.

Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война.

* * *

Как ни странно, рассказ Билли кончался тем, что он оказался на дальней окраине города, не тронутой взрывами и пожарами. К ночи американцы со своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи. Внизу топились три печки. Там, в ожидании гостей, стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели.

Хозяин постоялого двора был слепой, жена у него была зрячая, она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали, ждали, не придет ли кто к ним.

Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капали воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли четыре охранника и сто американских военнопленных.

Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли.

— Да.

— А еще кто-нибудь придет?

И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа.

* * *

Слепой хозяин сказал, что американцы могут расположиться на ночь у него в сарае, накормил их супом, напоил эрзац-кофеем и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю,

послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать.

— Доброй ночи, американцы! — сказал он по-немецки. — Спите спокойно.

Глава 9

Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так.

Он лежал без сознания в вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Щугарбуш, а Валенсия, услыхав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их «кадиллаке». Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если и выживет, то превратится в растение.

Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, правя машиной, что пропустила нужный поворот с шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался «мерседес». Никто, слава богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнуты ремни. Слава богу, слава богу. У «мерседеса» была разбита только одна фара. Но задняя часть кузова «кадиллака» стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были смяты. Разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что он ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим.

«Голосуйте за Ригана!» — гласила нашлепка на

бампере. Заднее стекло было изрезано трещинами. Система выхлопа валялась на земле.

Водитель «мерседеса» подошел к Валенсии — справиться, все ли в порядке… Она что-то залопотала в истерике — про Билли, про катастрофу — и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле.

Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. «Кадиллак», потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль, и гудок стал выть без остановки.

Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета.

Час спустя она скончалась. Такие дела.

* * *

Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени

Бертрам Копленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма на резиновых колесиках. Но Рэмфорд время от времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой.

У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже семьдесят лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой. женой. Ее звали Лили. Лили было двадцать три года.

* * *

Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей военно-воздушных сил США во второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было.

* * *

— Идите без меня, ребята, — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была

о-го-го какая, когда Рэмфорд ее увидал и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали. Интеллект у нее был ниже среднего.

— Я его боюсь! — шепнула она мужу про Билли Пилигрима.

— А мне он надоел до чертиков, — басом сказал Рэмфорд. — Только и знает, что спросонья сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми и просить, чтобы его не трогали. — Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором двадцати шести книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших яхтсменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиях спортом для мужчин старше шестидесяти пяти лет.

Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож:

— Я мог бы вырезать из банана человека получше.

* * *

Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумэна, в которой он объявлял всему миру, что на

Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь.

— Нет. — Читала она очень плохо, и это была одна из причин, почему ее выставили из школы.

Рэмфорд приказал ей сесть и прочитать про себя заявление Трумэна. Он не знал, что она неважно читает. И вообще он знал про нее очень мало: она была главным образом еще одним явным доказательством для всего света, что он — супермен.

Лили села и сделала вид, что читает трумэновское заявление, звучавшее так:

* * *

Шестнадцать часов тому назад американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, важную военную базу японской армии. Бомба превышала мощностью 20000 тонн Т.Н.Т., она в две тысячи раз превышала взрывную силу британской бомбы «большой шлем» — самой мощной бомбы в военной истории.

Японцы начали войну нападением на Перл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления рас-

тущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомбы этого типа уже находятся в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте.

Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы.

Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке.

До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию. Но практически никто этого сделать не мог.

Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Но они просчитались.

Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход «ФАУ-1» и «ФАУ-2», притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой.

Битва лабораторий была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море, но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах.

Теперь мы готовы окончательно и без промедления изничтожить любую промышленность Японии, в любом их городе на поверхности земли, — говорил далее Гарри Трумэн. — Мы разрушили их доки, их заводы, их пути сообщения.

Пусть никто не заблуждается: мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь…

Ну и так далее.

* * *

Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена», автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустило книгу американское издательство «Холт, Райнгарт и Уинстон» в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями — Айрой Иксром, генерал-лейтенантом военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сондби, кавалером многих военных орденов и медалей.

* * *

Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского

населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом, — писал, между прочим, друг Рэмфорда генерал Икер. — Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что и "ФАУ-1 и «ФАУ-2» в это время падали на Англию, без разбору убивая граждан — мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде, и о Ковентри.

* * *

Предисловие Икера кончалось так:

> Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма.

Такие дела.

* * *

Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее:

> Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств.
>
> Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны. 1945 года.
>
> Защитники ядерного разоружения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при

воздушном налете с дозволенным оружием погибло сто тридцать пять тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло 83 793 человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71379 человек.

Такие дела.

— Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите Бешеного Боба, — сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой.

Лили Рэмфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумэна.

* * *

К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился.

Такие дела.

С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт

вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме.

— Папочка… — позвала она нерешительно. — Папочка. Но Билли ушел на десять лет назад — в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика.

— Сколько точек вы видите? — спрашивал Билли Пилигрим.

* * *

И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше: ему было шестнадцать лет, и он ждал в приемной врача. У него нарывал большой палец.

Кроме него, приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек.

Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал.

— Извините, — сказал он Билли. И снопа икнул. — О господи! — сказал он. — Я знал, что старость скверная штука. — Он покачал головой. — Но что будет так скверно, я не знал.

* * *

Билли Пилигрим открыл глаза в палате вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын, Роберт. На Роберте была форма знаменитых «зеленых беретов». Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена — Алое сердце, Серебряная звезда и Бронзовая звезда с двумя лучами.

И это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в шестнадцать лет, шлялся с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился. Он отлично держался, сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей.

— Папа?

Но Билли снова закрыл глаза.

* * *

Билли не пришлось поехать на похороны жены — он еще был слишком болен.

Но он был в сознании, когда его жену опус-

кали в землю, в Илиуме. Однако, даже придя в сознание. Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валенсии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем, так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шёл даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу.

А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о несущественности смерти и об истинной природе времени.

* * *

Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные веши про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает.

— Почему они не дадут ему умереть спокойно? — спросил он у Лили.

— Не знаю, — сказала она.

— Ведь он уже не человек. А доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику.

Они бы знали, что с ним делать. Посмотри на

него! По их медицинским понятиям, это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?

— Не знаю, — сказала Лили.

* * *

Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал.

У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые сложности. Его однотомник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ двадцатисемитомной официальной истории военно-воздушных сил во второй мировой войне. Но дело было в том, что во всех двадцати семи томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось, хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне — в тайне от американского народа. Разумеется, это не было тайной для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны.

* * *

— Американцы в конце концов услыхали о Дрездене, — сказал Рэмфорд через двадцать три года после налета. — Теперь многие знают, насколько этот налет был хуже Хиросимы. Так что

придется и мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервые.

— А почему этот налет так долго держали в тайне? — спросила Лили.

— Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой уж блестящей победой.

И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно.

— Я там был, — сказал он.

* * *

Рэмфорду было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уже давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое и считал, что лучше бы ему умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать.

— Что он сказал? — спросил Рэмфорд.

Лили взялась за роль переводчика.

— Сказал, что он там был, — объяснила она.

— Где это там?

— Не знаю, — сказала Лили. — Где вы были? —

спросила она у Билли.

— В Дрездене, — сказал Билли.

— В Дрездене, — сказала Лили Рэмфорду.

— Да он просто, как эхо, повторяет наши слова, — сказал Рэмфорд.

— Правда? — сказала Лили.

— У него эхолалия.

— Правда?

Эхолалией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхолалией Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. По военной привычке Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть, из практических соображений, казалась ему весьма желательной, непременно страдает какой-нибудь скверной болезнью.

* * *

Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что у Билли эхолалия. И врачам и сестрам он повторял: у него началась эхолалия. Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни

звука.

— Сейчас не отзывается, — раздраженно говорил Рэмфорд, — а как только вы уйдете, он опять примется за свое.

Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что, так или иначе, слабые люди заслуживают смерти. А медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать чем только можно и что никто умирать не должен.

* * *

Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди: он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взглянуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду:

— Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену Рэмфорд нетерпеливо крякнул.

— Честное слово, — сказал Билли Пилигрим. — Вы мне верите?

— Разве непременно надо об этом говорить сейчас? — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил.

— Об этом никогда говорить не надо, — сказал Билли. — Просто хочу, чтобы вы знали: я там был.

В тот вечер о Дрездене больше не говорили, и Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день через два дня после окончания второй мировой войны в Европе. Билли с пятью другими американцами-военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб фургоне — они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей, в дрезденском пригороде. И теперь, под цоканье копыт, они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности, среди развалин. Они ехали на бойню — искать военные трофеи. Билли вспоминал, как ранним утром в Илиуме он еще мальчишкой слушал, как стучат копыта лошадки молочника.

Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив. Ему было тепло. В фургоне была еда, и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы

обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей.

Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов.

Но русские не пришли даже через два дня после окончания войны… В развалинах стояла тишина. По дороге к бойням Билли увидал только одного человека Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути.

* * *

Когда фургон остановился у боен, Билли остался в нем погреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфамадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливые и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. И если бы Билли мог выбирать самую счастливую минуту в жизни, он, наверно, выбрал бы тот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне.

Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился:

одному богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности — бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют.

За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет — реликвия первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пустого дома. Это была одна из примет конца войны — любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукояти красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидал Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне.

* * *

Внезапно его сон был нарушен: он услышал голоса — женский и мужской, они жалостливо говорили что-то по-немецки. Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли, открыл

глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверно, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела.

Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, — что губы у лошадей кровоточили, израненные удилами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «шевроле».

* * *

Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него — на Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого в своей лазоревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба — и муж и жена — были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сгорели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом.

Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине

был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках со стальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще.

Они оба говорили на девяти языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутом, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во второй мировой войне.

Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бранить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, а каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал.

* * *

Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос.

Вот почему эпиграфом этой книги выбрано

четверостишие из знаменитого рождественского гимна. Билли и видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко н хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна:

Ревут быки.
Теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

Билли снова пропутешествовал во времени в вермонтский госпиталь.

Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли, уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдыхавших на Луне.

Конец у этого рассказа был такой: Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей.

Через два дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном

грузовом судне под названием «Лукреция А. Мотт». Лукреция А. Мотт была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела.

* * *

— Но это надо было сделать, — сказал Рэмфорд: речь шла о разрушении Дрездена.

— Знаю, — сказал Билли.

— Это война.

— Знаю. Я не жалуюсь.

— Наверно, там был сущий ад.

— Да.

— Пожалейте тех, кто вынужден был это сделать.

— Жалею.

— Наверно, у вас там, внизу, было смешанное чувство?

— Ничего, — сказал Билли, — вообще все ничего не значит, и все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфамадоре.

* * *

Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила «волшебные пальцы». При Билли дежурила

специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением.

Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать миру о том, чему он выучился на Тральфамадоре.

* * *

В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Ройалтон», на Сорок четвертой улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорскнм понятиям, Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда.

Номер был небольшой, просто обставленный, помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над Сорок четвертой улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз, на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешные.

Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-Анн тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери.

Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около восьми часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийства.

* * *

Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой книжной лавчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство, и содомию, и убийства, а рядом — путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи Свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажей и засиженные мухами, лежали четыре романа приятеля Билли — Килгора Траута.

Между тем за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела.

Билли зашел в книжную лавку.

* * *

В лавке висело объявление: несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещался. Там можно было посмотреть в глазок фильм — молодых мужчин и женщин без одежды. За минуту брали четверть доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей. Их можно было унести домой.

Фотографии были очень тральфамадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время и они не менялись. И через двадцать лет эти барышни останутся молодыми и все еще будут улыбаться, или пылать страстью, — или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы. Так они и будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра.

Но та часть лавки не соблазняла Билли Пили-

грима. Он был в восторге, что увидал в витрине романы Килгора Траута. Их названия он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватали и листали книжки. Роман Траута назывался «Большая доска». — Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет назад, уже читал эту книгу в военном госпитале. Там описывалось, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212.

* * *

У этих выдуманных героев романа на одной стене их обиталища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акции, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции миллион долларов, а теперь дело их, пленников, управлять этим вкладом так, чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми.

Разумеется, и телефон, и большая доска, и те-

леграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка — вскакивали, метались, кричали «ура», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери.

Земляне отлично записывали курс акций. И это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили, что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитвы. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле. И они пустили в ход молитвы.

И помогло. Цены на оливковое масло сразу подскочили.

* * *

В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидал Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу.

Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.

Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.

И возмутителя черни распяли.

Такие дела.

* * *

В книжной лавке хозяйничало пять человек, похожих как пять близнецов, маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались.

У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали. И Билли Пилигрим тоже. А другие испытывали. Смешная это была лавка — все про любовь да про младенцев.

Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь — покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть. Были и такие покупатели, которые глазели не на товары, а друг на

дружку.

Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а что книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз.

— Это не то, что вам надо, черт возьми, — сказал он Билли. — То, что надо, там, дальше.

И Билли прошел немного дальше, в глубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности, захватив с собой книжку Траута — ту, где рассказывалось о Христе.

Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи: действительно ли Христос умер на кресте или его живым сняли с креста и он продолжал жить? Герой книги захватил с собой стетоскоп.

Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу — он был одет как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто не увидел его стетоскоп, и стал выслушивать его.

В исхудалой груди все молчало. Сын божий был

совершенно мертв.

Такие дела.

Путешественнику во времени — его звали Лэнс Корвин — удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в пять футов и три с половиной дюйма.

* * *

К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал, да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения, от Древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли.

— Фу ты черт, да где вы ее откопали? — ну и так далее, а потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказчики уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним.

Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми малопристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидал вопрос на обложке: «Куда девалась Монтана Уайлдбек?»

* * *

И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана.

Она была далеко, на Тральфамадоре, и нянчила их младенца, но журнал, который назывался «Киски-полуночницы», уверял, что она, одетая камнем, лежит на глубине ста восьмидесяти футов в соленых водах залива Педро.

Такие дела.

Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения одиноких мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура — сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно.

Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок — а там одна, в постели, лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотелось смотреть, что будет дальше, а тут еще к нему пристал приказчик,

уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки — их особо прятали для любителей и знатоков.

Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное.

Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография — женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью меж двух дорических колонн, на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками.

* * *

В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидал табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте а там, у входа, уже ждали какие то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии — жив роман или же он умер. Такие дела.

Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программу спросил, как его

фамилия и от какой он газеты. Билли сказал: от «Илиумского вестника».

Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там Бешеного Боба!» — сказал он себе.

* * *

В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда один вирджинец, через сто лет после битвы при Аппоматоксе, снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать, как Норман Мэйлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветовые пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал:

«Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских

ресторанах».

Потом дали слово Билли. И тут он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюдца, и про Монтану — словом, про все.

Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свои номер, опустил четверть доллара в электрические «волшебные пальцы», подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфамадор.

— Опять летал во времени? — спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца.

— М-мм? — спросил Билли.

— Ты опять летал во времени. По тебе сразу всегда видно.

— Угу.

— А куда ты теперь летал? Только не на войну. Это тоже сразу видно.

— В Нью-Йорк.

— А-а, Большое Яблоко!

— А?

— Так когда-то называли Нью-Йорк.

— Ммм-мм…

— Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?

— Нет. Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута.

— Тоже мне счастливчик! — Монтана никак не разделяла его восхищение Килгором Траутом.

Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский — никакой вины она не чувствовала.

— Ну и что? — сказала она. — А я слыхала, каким шутом ты был на войне. И еще слышала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие — такой расстрел. — Она приложила младенца к другой груди, потому что структура этого мгновения была такова, что она должна была так сделать.

Наступила тишина.

— Опять они возятся с часами, — сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то снова быстрее и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян.

На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон, в нем была фотография ее матери-алкоголички — грубая фактура: сажа и мел. Фото могло изображать

кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова:

Глава 10

Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.

Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад. Он тоже умер. Такие дела.

И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела.

Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют.

На Тральфамадоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарлз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела.

* * *

Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска» Килгора Траута.

Существа с летающих блюдец, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине. Они также расспрашивают его о гольфе.

Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев, — истинная правда, то есть что все мы будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много.

В последнее время одним из самых приятных событии была моя поездка в Дрезден с О'Хэйром, старым приятелем еще с войны.

В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу[5]. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни.

Когда мы поднялись в воздух, молодой стюард подал нам ржаной хлеб, салями, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюард пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным

---

[5] notes: 5
Адольф Менжу (1890-1963) — американский киноактер.

ножом. Этим ножом он открыл столик.

Кроме нас, было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия, там было светло. Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы.

Ни я, ни О'Хэйр никогда не думали разбогатеть — и однако, мы стали очень состоятельными.

— Попадете в город Коди, в Вайоминге, — лениво сказал я ему, — спросите Бешеного Боба.

У О'Хэйра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что:

> В среднем на свете ежедневно рождается 324000 младенцев. В то же время около 10000 человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела.
>
> Кроме того, 123000 умирают от разных других причин. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется 191000 человек.

> Бюро учета народонаселения предсказывает, что до 2000 года население Земли увеличится вдвое и дойдет до 7000000000 человек.

— И наверно, все они захотят жить достойно, — сказал я.

— Наверно, — сказал О'Хэйр.

* * *

Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там. И О'Хэйр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.

На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне.

А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались.

Билли оказался в паре с другим копачом — маори, взятым в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и косный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы.

Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались — упирались в мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности.

Потом Билли с маори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившимися друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто.

Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели

на скамьях. Повреждений видно не было.

Такие дела.

Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене.

Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали загнивать, расползаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа..

Такие дела.

Маори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того, как он по приказу спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки.

Такие дела.

Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня.

Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он вынес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли.

Такие дела.

* * *

А где-то была весна. Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали взаперти в сарае, на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе окончилась.

Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались.

Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один пустой фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб.

Разговаривали птицы.

Одна птичка спросила Билли Пилигрима:

«Пьюти-фьют?»

Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер,
или
Не мечите бисера перед свиньями

Элвину Дэвису, телепату, другу всякого сброда

Окончилась вторая мировая война, и вот я в полдень иду через Таймс-сквер и на груди у меня орден Алого Сердца.

Элиот Розуотер,
президент фонда Розуотера

Глава 1

Хотя это — повесть о людях, главный герой в ней — накопленный ими капитал, так же, как в повести о пчелах главным героем мог бы стать накопленный ими мед.

К 1 июня 1964 года этот капитал выражался в сумме 87 миллионов 472 тысячи 33 доллара и 61 цент. Берем этот день, потому что именно тогда эта сумма предстала перед задумчивым взором жуликоватого юнца по имени Норман Мушари. Прибыль с этой весьма привлекательной суммы равнялась трем с половиной миллионам в год, то есть примерно десяти тысячам долларов в день, считая и воскресенья.

В 1947 году, когда Норману Мушари было всего шесть лет, этот капитал лег в основу некоего благотворительного и культурного фонда. До этого весь капитал принадлежал семейству Розуотеров и занимал четырнадцатое место в ряду крупнейших состояний Америки. Деньги эти были помещены в особый Фонд, с той целью, чтобы налоговая инспекция и всякие другие хищники, не из породы Розуотеров, не могли наложить на них лапу. Весь устав фонда был составлен весьма

замысловато и хитроумно: он гласил, что место Президента Фонда переходит по наследству, как королевский престол Великобритании. Оно неизменно, во все времена, закреплялось за самым старшим из прямых наследников основателя Фонда Листера Эймса Розуотера, сенатора от штата Индиана.

Родные братья и сестры Президента Фонда по достижении совершеннолетия тоже получали пожизненные места в правлении фонда, если только закон не признавал кого-нибудь из них психически неполноценным. За свою деятельность они имели право широко пользоваться деньгами Фонда, но лишь из дивидендов фонда.

Как того требовал устав, наследникам сенатора строго воспрещалось трогать основной капитал Фонда. Ответственность за капитал была возложена на другую организацию, созданную одновременно с Фондом, она носила весьма выразительное название Корпорации Розуотера. Как большинство корпораций, она стремилась к постоянному и не зависящему от любых колебаний наращиванию капитала. Служащим корпорации платили большие деньги. Вследствие этого они были чрезвычайно изворотливы, энергичны и довольны жизнью. Главным их занятием было

подрывать акции и шеры других корпораций, второстепенным же занятием было управление деревообделочным заводом, спортивным комплексом, мотелем, банком, пивоваренным заводом, огромными фермами в округе Розуотер в штате Индиана и несколькими угольными шахтами на севере штата Кентукки.

Розуотеровская корпорация занимала два этажа в доме номер 500, на Пятой авеню, в Нью-Йорке и, кроме того, имела филиалы в Лондоне, Токио, Буэнос-Айресе и в округе Розуотер. Ни один из членов фонда Розуотера не имел право давать розуотеровской Корпорации советы относительно помещения основного капитала. А Корпорация, с другой стороны, не имела права указывать Фонду, что делать с огромными прибылями, которые Корпорация зарабатывала для Фонда.

Все эти данные дошли до сведения молодого Нормана Мушари, когда, окончив одним из первых юридический факультет Корнельского университета, он поступил на работу а адвокатскую контору в Вашингтоне, которая выработала уставы Фонда и Корпорации, в фирму Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги. Мушари был ливанцем по происхождению, сыном бруклинского торговца коврами. Ростом он не вышел, всего пять футов

с лишним, зато задница у него была огромная, и так и лоснилась, когда он раздевался. Он был самым низкорослым, самым молодым и, что ни говори, наименее англосаксонским служащим в своей конторе.

Работал он под началом старейшего партнера фирмы, Тэрмонда Мак-Алистера, кроткого милого старичка семидесяти шести лет. Нормана никогда не взяли бы на службу, если бы остальные компаньоны не решили, что хорошо бы помочь Мак-Алистеру взять в делах более жесткий курс.

Никто никогда не приглашал Мушари позавтракать вместе. Он питался в одиночку, в дешевых кафе, упорно думая, как бы сокрушить Фонд Розуотера. Знакомых среди Розуотеров у него не было. Волновало его только то, что капитал Розуотеров был самым крупным кушем, которым ведала фирма Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги. Мушари хорошо понимал, что ему однажды внушал его любимый профессор Ленард Лич[6]. Объясняя ему, как сделать карьеру на юридическом поприще, Лич говорил, что совершенно так же, как хороший пилот все время должен высматривать место для посадки самолета, хо-

---

[6] notes: 6
Лич — пиявка (*англ.*).

роший адвокат должен ловить случай, когда большие капиталы переходят из рук в руки.

— При всякой крупной сделке, — говорил Лич, — наступает магический момент, когда один человек уже выпустил капитал из рук, а тот, к кому должны перейти деньги, еще их не взял. Ловкий юрист должен воспользоваться этим моментом и завладеть капиталом, хотя бы на одну чудодейственную микросекунду, и оторвать хотя бы малую колику, передавая капитал другому владельцу. И если тот, кому причитается это богатство, не привык к большим деньгам, да еще страдает комплексом неполноценности и смутным чувством вины, как это бывает со многими людьми, адвокат вполне может присвоить чуть ли не половину куша, причем наследник еще будет слезно благодарить его за это.

Чем дольше Мушари рылся в секретной документации фонда Розуотера, тем больше его охватывало волнение. Самой потрясающей ему казалась та графа устава, по которой любой член Правления Фонда, признанный ненормальным, немедленно выводился из состава Правления. В их конторе давно поговаривали, что сам президент фонда, Элиот Розуотер, сын теперешнего сенатора, — форменный псих. Правда, его так

называли как бы в шутку, но Мушари отлично знал, что шуточки до суда не доходят. Как только не называли Элиота сослуживцы — и «придурком», и «святым», и «трясуном», «чокнутым», а то и «Иоанном-Крестителем», словом, по-всякому.

«Хорошо бы устроить этому типу судебную экспертизу», — рассуждал сам с собой Мушари.

По всем сведениям, следующий кандидат на пост Президента Фонда, какой-то кузен с Род-Айленда, был полным ничтожеством. И когда настанет магический момент, Мушари собирался представлять интересы этого кузена.

Мушари был начисто лишен музыкального слуха, а потому и не знал, что его сослуживцы по контре дали ему кличку. Когда он входил или выходил, кто-нибудь начинал насвистывать всем известную песенку «Скок-поскок-молодой хорек!».

Элиот Розуотер стал Президентом Фонда в 1947 году. Когда Мушари занялся им, Элиоту было сорок шесть лет. Мушари был вдвое моложе Элиота и воображал себя этаким маленьким Давидом, который решил прикончить Голиафа. Выходило, что чуть ли не сам Творец был на стороне маленького Давида, так как вскоре в контору, один за другим, стали поступать совершенно секретные

документы, подтверждающие, что Элиот совершенно свихнулся.

В сейфе конторы под замком хранился, например, конверт за тремя печатями с распоряжением передать его в нераспечатанном виде тому, кто станет Президентом Фонда после смерти Элиота.

В конверте находилось письмо Элиота, и вот что там говорилось:

«Дорогой кузен или кто вы есть, поздравляю вас с выпавшей на вашу долю огромной удачей. Живите весело. Может быть, перед вами откроются новые перспективы, если вы будете знать, кто до вас распоряжался и пользовался вашими несметными богатствами. Как и многие крупные американские состояния, капитал Розуотеров был накоплен унылым, страдавшим запорами молодым фермером, верующим христианином, который с самого начала Гражданской войны стал закоренелым спекулянтом и взяточником. Звали этого молодого фермера Ной Розуотер, родом он был из округа Розуотер и приходился мне прадедушкой.

Ной и его брат Джордж унаследовали от своего отца, переселенца-пионера, шестьсот акров пахотной земли, плодородной и жирной, как шоколадный торт, и маленький захудалый пи-

лозавод. Началась Гражданская война. Джордж собрал роту стрелков и пошел с ней на фронт. Ной нанял деревенского дурачка, чтобы тот пошел воевать вместо него, а сам перестроил пилозавод и стал делать штыки и сабли, а на ферме начал откармливать свиней. Так как Авраам Линкольн заявил, что нельзя жалеть никаких затрат, когда речь идет о восстановлении Союза, Ной стал взвинчивать цены на свои товары тем выше, чем больше разрастались народные бедствия. И вот какое он сделал открытие: любой протест правительства — будь то по поводу цен или качества поставок, — можно с легкостью отвести, путем до смешного ничтожных взяток. Он женился на Клеоте Херрик, самой уродливой женщине во всем штате Индиана, потому что у нее было четыреста тысяч долларов. На ее деньги он расширил завод и скупил много ферм все в том же округе Розуотер. Он сделался самым крупным свиноводом на всем Севере. Для того, чтобы не стать жертвой мясников, он купил контрольный пакет акций бойни в Индианаполисе. Опять-таки, чтобы не стать жертвой сталелитейщиков, он купил контрольный пакет акций сталелитейной компании в Питтсбурге. А чтобы не стать жертвой поставщиков угля, он скупил акции множества

угольных шахт. И, чтобы не стать жертвой ростовщиков, он учредил собственный банк.

Эта его маниакальная боязнь — стать чьей-то жертвой — заставляла его все больше и больше заниматься ценными бумагами — акциями и шерами — и все меньше и меньше — поставками свинины и оружия. Проделав несколько мелких экспериментов с обесцененными бумагами, он убедился, что их тоже можно выгодно сбывать с рук. Он все еще продолжал подкупать государственных чиновников, благодаря которым он получал право владения национальными богатствами и сокровищами. Его основным увлечением стала перепродажа ценных бумаг.

Когда Соединенные Штаты Америки, которые должны были стать настоящей Утопией для всех граждан, готовились праздновать свое столетие, то на примере Ноя Розуотера и нескольких других можно было ясно видеть, какую глупость сделали отцы-основатели в одном отношении: эти предки, жившие, к сожалению, совсем недавно, позабыли издать закон, по которому богатство любого гражданина Утопии, этой Земли Обетованной, должно было иметь свой предел. Вышел этот недосмотр потому, что многие питали сентиментальную симпатию к людям, любящим

дорогие вещи, и при этом считали, что этот континент настолько велик и обилен, а население в нем хоть и небольшое, но весьма предприимчивое, что, сколько бы ни разворовывали страну ловкие воры, все равно особых неприятностей от этого никому не будет.

Ной и ему подобные раскусили, что на самом деле ресурсы страны ограничены, но что любого корыстного чиновника, особенно из законодательных органов, можно было легко уговорить, чтобы он расшвыривал изрядные куски земли — лови, держи! — и швырял их именно так, чтобы они попадали в руки таких же ловкачей, как он.

Так кучка жадюг во всей Америке стала распоряжаться всем, что того стоило. Так была создана в Америке дичайшая, глупейшая, абсолютно нелепая, ненужная и бездарная классовая система. Честных, трудолюбивых, мирных людей обзывали кровопийцами, стоило им только заикнуться, чтобы им платили за работу хотя бы прожиточный минимум. И они понимали, что похвал заслуживают только те, кто придумывает способы зарабатывать огромные деньги путем всяких преступных махинаций, не запрещенных никакими законами. Так мечта об американской Утопии перевернулась брюхом кверху, позеле-

нела, всплыла на поверхность в мутной воде безграничных преступлений, раздулась от газов и с треском лопнула под полуденным солнцем.

Нет большей насмешки, чем писать на ассигнациях этой лопнувшей Утопии “E pluribus unum”, потому что каждый до нелепости богатый американец есть воплощение той роскоши, тех привилегий и удовольствий, которые недоступны большинству. В свете истории гораздо более поучительным был бы лозунг, созданный всеми Ноями Розуотерами *„Загребай сколько влезет, не то получишь шиш!“*

И Ной родил Сэмюэла, который взял в жены Джеральдину Эймс Рокфеллер. Сэмюэл интересовался политикой куда больше, чем его отец, неутомимо служил республиканской партии, создавая некоронованных королей, подбивал эту партию назначать на посты людей, умевших вертеться как дервиши, бегло вещать по-вавилонски и приказывать полиции стрелять в толпу, если какой-нибудь бедняк вообразит, что он и Розуотер равны перед законом.

И Сэмюэл стал скупать не только газеты, но и проповедников. Он приказывал учить людей одной простой истине, и они хорошо всем внушали: *„Тот, кто воображает, что Соединенные Штаты*

Америки должны стать Утопией — скотина, лентяй, безмозглый болван“.

Сэмюэл орал, что ни один фабричный рабочий в Америке не стоит больше восьмидесяти центов в день. Но сам он был счастлив, что ему удалось выложить сто тысяч долларов, а то и больше, за картину итальянского художника, умершего лет триста тому назад. Еще оскорбительнее было то, что он жертвовал эти картины в музеи, чтобы способствовать духовному росту бедняков.

А музеи по воскресеньям были закрыты.

И Сэмюэл родил Листера Эймса Розуотера, который взял в жены Юнис Элиот Морган. Надо сказать, что Листер и Юнис — не то, что Ной с Клеотой или Сэмюэл с Джеральдиной. Они умели при случае и посмеяться, и как будто вполне искренне. Кстати, как примечание к семейной хронике, можно добавить, что Юнис стала чемпионом Америки по шахматам среди женщин в 1927 году и снова — в 1933 году.

Кроме того, Юнис написала исторический роман про женщину-гладиатора *„Рамба из Македонии“*, и книга стала бестселлером в 1936 году. В 1937 году она трагически погибла в Котьюте, штат Массачусетс, когда ее яхта шла под парусом по заливу. Она была очень интересная, умная

женщина и вполне искренне беспокоилась о судьбе бедняков. Юнис была моей матерью.

Ее муж, Листер, никогда не был дельцом. Со дня своего рождения до сегодняшнего дня, когда я пишу вам это послание, он всецело предоставил управление своими капиталами адвокатам и банкам. Почти всю свою взрослую жизнь он провел в Конгрессе Соединенных Штатов, проповедуя мораль сначала как представитель области, центром которой является город Розуотер, затем — как сенатор от штата Индиана. Разговоры о том, будто он и есть истинный „хужер“ — коренной житель Индианы, — были просто нехитрой политической басней. И Листер родил Элиота.

Об унаследованном им состоянии, о тех обязанностях, той ответственности, которые на него возлагало его богатство, Листер думал примерно столько же, сколько любой человек думает о большом пальце на своей левой ноге. Этот капитал его и не трогал, и не интересовал, и не беспокоил. Он с легкостью отдал девяносто пять процентов этого капитала Фонду, которым Вы в настоящее время должны будете управлять.

Элиот женился на Сильвии Дюврэ-Зеттерлинг, красавице-парижанке, которая в конце концов возненавидела его. Мать Сильвии была мецена-

том, покровительницей художников. Ее отец был величайшим виолончелистом современности. Дед и бабка с материнской стороны были из семейства Ротшильдов и Дюпонов.

А из Элиота вышел алкоголик, утопист-мечтатель, балаганный праведник, бестолковый глупец.

И родить он никого не родил.

Bon voyage Вам, дорогой кузен или кто вы там есть. Будьте щедрым, будьте добрым. Можете благополучно забыть про искусство и науки. Никогда они еще никому не помогали. Будьте искренним, внимательным другом бедняков».

Подпись стояла такая:

Покойный Элиот Розуотер.

Сердце у Нормана Мушари забило тревогу. Он, обзаведясь специальным сейфом, вложил туда письмо Элиота. Недолго пролежит тут в одиночестве эта первая серьезная улика.

Сидя в своем закутке в конторе, Мушари вспомнил, что Сильвия сейчас подала на развод с Элиотом и что старый Мак-Алистер представляет интересы ответчика. Сильвия жила в Париже, и Мушари написал ей письмо, в котором напоминал, что обычно, когда стороны разводятся по обоюдному согласию, полагается возвращать

друг другу письма. Он просил ее переслать письма Элиота, если они у нее сохранились.

Обратной почтой он получил пятьдесят три таких письма.

Глава 2

Элиот Розуотер родился в 1918 году в Вашингтоне. Как и его отец, который якобы был коренным «хужером», Элиот рос, и воспитывался, и развлекался на Восточном побережье Штатов и в Европе. Каждый год все семейство ненадолго приезжало в свои родные края, округ Розуотер, ровно настолько, чтобы как-то оправдать враки, что тут их «родной дом». Элиот окончил колледж без особых успехов в науке и поступил в Гарвардский университет. Он стал опытным яхтсменом, лето проводил в Котьюте, на мысе Код, а во время зимних каникул катался на лыжах в Швейцарии.

Восьмого декабря 1941 года он бросил юридический факультет Гарвардского университета и ушел добровольцем в пехотную часть армии США. Он отличился во многих боях. В чине капитана командовал ротой. Под конец войны в Европе Элиот заболел. Определили его болезнь как переутомление в связи с военной службой. Его отправили в Париж, в военный госпиталь. Там он познакомился с Сильвией и покорил ее сердце. После войны он вернулся в Гарвард со своей очаровательной женой, окончил юридиче-

ский факультет, выбрал своей специальностью международное право, мечтал заняться полезной деятельностью в Организации Объединенных Наций. Он получил докторскую степень и одновременно стал президентом недавно учрежденного Фонда Розуотера. Согласно Уставу Фонда, он мог по своему усмотрению взять на себя и совершенно пустячные, и весьма значительные обязанности. Элиот решил подойти к делу со всей серьезностью. Он купил особняк в Нью-Йорке, с фонтаном в холле. В гараж поставили машины — «бентли» и «ягуар». Он снял целый этаж под контору в Эмпайр-Стейт-Билдинг. Стены его кабинетов были окрашены в лимонный, оранжевый и светло-серый цвет. Он объявил, что это учреждение станет генеральным штабом для претворения в жизнь его прекрасных благотворительных и научных планов.

Он много пил, но это никого не беспокоило. Выпить он мог сколько угодно, но никогда не пьянел.

С 1948 по 1953 год Фонд Розуотера израсходовал четырнадцать миллионов долларов. В благодеяния Элиота входила и постройка клиники для контроля рождаемости в Детройте, и покупка полотна Эль Греко для музея города Тампа, штат

Флорида. Розуотеровские доллары шли на борьбу с раком, с психическими заболеваниями, с расовой дискриминацией, произволом полиции и другими бесчисленными бедами. Фонд помогал университетским профессорам искать истину и покупал все прекрасное, не стесняясь в цене.

По иронии судьбы, одна из проблем, за изучение которой платил Элиот, была борьба с алкоголизмом в Сан-Диего. Но когда ему был представлен об этом доклад, Элиот был так пьян, что прочесть ничего не мог. Сильвии пришлось заехать за ним в его контору и отвезти домой. Человек сто наблюдало, как она вела его по тротуару к машине, а Элиот декламировал им куплетик, который он сочинял все утро:

Много-много доброго я купил,

Много-много скверного сокрушил.

Два дня после этого Элиот провел в полном раскаянии и трезвости, после чего исчез на целую неделю. Между прочим, он ворвался без приглашения на конференцию авторов книг по научной фантастике, в милфордском мотеле штата Пенсильвания. Норман Мушари узнал об этом случае из доклада, хранившегося в делах фирмы Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги, и

сделанного частным сыщиком. Сыщик был нанят старым мистером Мак-Алистером и следовал за Элиотом, проверяя, не сделает ли он чего-нибудь незаконного, такого, что может потом вредно отразиться на делах Фонда.

В отчете было дословно приведено выступление Элиота перед писателями-фантастами. Вся конференция, включая и пьяную речь Элиота, была записана на пленку.

— Люблю я вас, чертовы дети, — сказал Элиот в Милфорде. — Только вас я и читаю. Только вы по-настоящему говорите о тех *реальных* чудовищных процессах, которые с нами происходят, только вы одни, в своем безумии, способны понять, что жизнь есть путешествие в космосе и что жизнь вовсе не коротка, а длится биллионы лет. Только у вас одних хватает мужества *по-настоящему* болеть за будущее, *по-настоящему* понимать, что с нами делают машины, что с нами делают войны, что с нами делают города, что с нами делают великие и простые идеи, что творят с нами потрясающее непонимание друг друга, все ошибки, беды, катастрофы. Только у вас хватает безграничной одержимости, чтобы мучиться над проблемами времени и бесконечности пространства, над бессмертными тайнами, над тем

фактом, что именно сейчас мы должны решить — будет ли наше путешествие во вселенной адом или раем.

Потом Элиот заявил, что писатели-фантасты писать не умеют ни на грош, но тут же добавил, что это никакого значения не имеет. Он сказал, что они зато поэты, так как они тоньше чувствуют важные перемены, чем другие писатели, хотя те пишут хорошо. «К черту этих талантливых пердунчиков, которые так изысканно изображают какой-нибудь мизерный кусочек чьей-то одной куцей жизнишки, когда решается судьба галактики, эонов и миллиардов еще не рожденных душ».

«Как я хотел бы, чтобы тут присутствовал Килгор Траут, — продолжал Элиот, — и я мог бы пожать ему руку и сказать, что он величайший писатель современности. Мне только что сообщили, что он не смог приехать, потому что ему нельзя бросить работу! И какую же работу общество предоставило этому величайшему пророку? Элиот даже задохнулся, у него не хватало духу выговорить, какую работу дали Трауту: — Он занимается гашением премиальных талончиков!!!»

Это была правда. Траут, автор восьмидесяти семи романов, вышедших в дешевых изданиях, был очень бедный человек, и никто, кроме любителей научной фантастики, о нем не знал. Когда Элиот так тепло о нем отозвался, ему уже пошел шестьдесят седьмой год.

— Через десять тысяч лет, — вещал на конгрессе Элиот, — имена полководцев и президентов будут забыты, и в памяти людей останется единственный герой нашего времени — автор романа *«Бы-Тиль-Небыть»*.

Так называлась одна из книг Траута. И это название, при ближайшем рассмотрении, оказывалось началом знаменитого монолога Гамлета.

Мушари добросовестно стал искать эту книгу, чтобы ее включить в составленную им на Элиота документацию. Ни один уважающий себя книготорговец об этом Трауте никогда не слыхал.

Мушари сделал последнюю попытку: стал рыться среди порнографических книжонок у продавца порнолитературы в подворотне. И там, среди всякого пакостного чтива, он нашел истрепанные книжки Траута — всё, что тот написал. За *«Бы-Тиль-Небыть»*, номинально стоившую двадцать пять центов, он заплатил пять долларов и столько же отдал за *«Кама-Сутру»*.

Мушари перелистал *«Кама-Сутру»*, издавна запрещенное восточное руководство по искусству и технике любви, и прочитал там следующее:

«Ежели мужчина сварит некое подобие студня из растений кассия фистула и эвгения джамболина, и разотрет в порошок растения вероника антиглистата, эклипса простата, лоджопия прыгата, и смесь эту возложит на лобок женщины, с коей он вознамерился вступить в сношение, он незамедлительно перестанет испытывать к ней страсть».

Ничего смешного Мушари в этих наставлениях не увидал. Он вообще был лишен чувства юмора, так как его всецело поглощали вопросы юриспруденции, в которых, как известно, юмора маловато. Да и умишко у него был настолько куцый, что он вообразил, будто произведения Траута — очень-очень неприличная штука, раз их так дорого продают таким странным людям в таком странном месте. Он не мог Понять, что с порнороманами у Траута общим были вовсе не рассказы о сексе, а мечты о каком-то фантастическом мире, где все тебе открыто.

Перелистывая страницы сногсшибательной прозы, Мушари чувствовал, что его обманули, он жадно выискивал что-нибудь насчет секса,

а ему рассказывали про автоматику. Любимый прием Траута состоял в том, чтобы описывать совершенно гнусный общественный строй, довольно похожий на современное общество, а под самый конец предлагать способы, как улучшить эту жизнь. В романе *«Бы-Тиль-Небыть»* он рисовал гипотетическую Америку, в которой почти всю работу делали машины, и единственные люди, которые могли поступить хоть на какую-то службу, имели три докторских степени. Кроме того, страна была очень перенаселена. Никаких серьезных болезней уже не осталось, так что надо было умирать добровольно, и правительство для поощрения добровольцев-самоубийц воздвигало на каждом углу *Салоны Самоубийств «Этика»*, крытые красной черепицей, и рядом, под оранжевыми крышами, ресторанчики фирмы Говард Джонсон. В салоне хозяйничали прехорошенькие девушки, там царил уют, комфорт, и посетителям предлагалось на выбор четырнадцать способов легкой смерти. Салоны Самоубийств работали бесперебойно, потому что очень многим жизнь казалась глупой и бесцельной, а добровольная смерть считалась поступком самоотверженным и патриотическим. Перед самоубийством каждый получал бесплатное угощение в соседнем

ресторанчике.

И так далее. Воображение у Траута было богатейшее. Один из клиентов спросил хозяйку салона, попадет ли он в рай, и она ответила, что он непременно попадет. Он спросил, увидит ли он Господа Бога, и она сказала: — Ну конечно, миленький!

— Очень надеюсь, — сказал клиент, — уж очень мне охота спросить Его кое о чем. Тут, на земле, ничего нельзя было узнать.

— А чего это вы хочете узнать? — спросила она, затягивая на нем ремешки.

– *На кой черт* нужны люди?

На конференции писателей-фантастов в Милфорде Элиот сказал, что им было бы невредно побольше знать и про секс, и про экономику, и про стилистику, но тут же добавил, что людям, которые по-настоящему занимаются серьезными проблемами, на такие мелочи времени не хватает. И тут он высказал предположение, что еще никто не написал настоящей, хорошей, серьезной, научно-фантастической книги про деньги.

— Вы только подумайте, как дико и бессмысленно распределяются деньги по всей Земле, — сказал он. — И вам вовсе не надо отправляться в антимиры, скажем, в галактику 508-Г на пла-

нету Тральфамадор, и там искать каких-то сверхчудищ, облеченных невероятной властью! Посмотрите, какой властью обладает обыкновенный землянин-миллионер! Посмотрите на меня! Ведь я родился голым, как и все вы, но, Боже правый, друзья мои и ближние, ведь теперь я могу тратить тысячи долларов в день!

Он перевел дух и тут же на деле подтвердил свои слова, выписав каждому участнику съезда из грязноватой чековой книжки чек на двести долларов.

– *Вот* вам фантастика! — сказал он. — А завтра вы пойдете в банк, и все окажется реальностью. Разве это не безумие, что я могу так швыряться деньгами!

На секунду он потерял равновесие, пошатнулся, потом выпрямился и чуть не заснул стоя. С трудом открыв глаза, он проговорил:

— Я предоставляю вам, друзья мои и ближние, и особенно бессмертному Килгору Трауту вникнуть в те глупости, которые люди делают с деньгами, и потом придумать, как разумно распределять их.

Элиот пошатываясь ушел из Милфорда, доехал на попутных машинах до Суортмора, в штате Пенсильвания. Зайдя в небольшой бар, он объявил, что каждый, у кого есть значок добровольной

пожарной дружины, может выпить за его счет. Потом он отчего-то расстроился, прослезился и стал жаловаться, что его мучает мысль о том, что возле густонаселенной планеты атмосфера все время пытается сожрать все, что дорого жителям этой планеты. Он, конечно, подразумевал нашу Землю и атмосферный кислород.

— Вы только подумайте, ребята, — сказал он, всхлипывая, — нас с вами это ближе всего касается. А тут еще земное тяготение всех нас связывает. И мы с вами, мы, немногие счастливцы, мы входим в одно братство, мы-то и объединены общим важным делом — не дать этому проклятому кислороду соединиться с нашей пищей, нашим кровом, нашей одежей, погубить наших любимых. Понимаете, ребята, ведь я тоже был членом добровольной пожарной бригады, и я сейчас вступил бы в ее ряды, если бы в этом Нью-Йорке существовала такая гуманная, такая *человечная* организация.

Конечно, все это была чепуха — никогда Элиот пожарником не был. Ближе всего он соприкоснулся с этим делом, когда в детстве со всей семьей ненадолго приезжал в Розуотер, фамильные владения. Подхалимы-сограждане, желая подольститься к маленькому Элиоту, сделали его

как бы «талисманом» добровольной пожарной бригады. Ни одного пожара он не тушил.

— Я вам говорю, ребятки, — продолжал Элиот, — если эти азиаты налетят на нас на своих летучих дредноутах и остановить мы их не сможем, все наши ублюдки-пустомели, которые знали, как лизать зад у кого надо, а потому и заняли все теплые местечки, все они встретят налетчиков «с распростертыми объятиями», на любую работу согласятся, чего только те не потребуют. А знаете, кто схоронится в лесах, с охотничьими ножами и винтовками, кто будет драться до последнего конца, клянусь Богом? Знаете кто? Добровольные пожарные бригады, вот кто!

В Суортморе Элиот попал в кутузку за буйное поведение в нетрезвым виде. Когда, он проспался на следующее утро, полиция позвонила его жене. Он попросил у нее прощения и смиренно приполз домой.

Но через месяц он опять удрал, целую ночь бражничал с пожарными в Кловерлике, в Западной Виргинии, а на другой день пил в Новом Египте, штат Нью-Джерси. Во время этой вылазки он обменялся одеждой с одним пожарником, отдал ему свой костюм ценой в четыреста долларов за двубортный пиджак образца 1939 года, синий

в белую полосочку, с плечами высотой со скалы Гибралтара, отворотами, похожими на крылья архангела Гавриила, и брюки с намертво застроченной складкой.

— Спятил ты, вот что, — сказал Элиоту этот пожарник.

— Не хочу быть таким, как я, — ответил Элиот, — хочу быть таким, как ты. Ты — соль земли, клянусь честью! В тебе все то, чем славится Америка. Все вы, на ком такая одежа, — душа американской пехоты.

Так Элиот постепенно обменял свой гардероб, кроме фрака, смокинга родного серого фланелевого костюма. Его шестнадцатифутовый шкаф превратился в плачевную выставку комбинезонов, свитеров, фуфаек, старых роб, курток, тельняшек, солдатских рубах и так далее. Сильвия хотела все это сжечь, но Элиот сказал:

— Лучше сожги мой фрак, мой смокинг, да и серый костюм тоже.

Уже тогда Элиот явно был тяжело болен, но никто не подумал заставить его лечиться, и никого еще не осенила мысль о тех выгодах, которые можно получить, если объявить Элиота сумасшедшим.

Маленькому Норману Мушари тогда было все-

го двенадцать лет. Он строил модели аэропланов из пластика, занимался онанизмом и обклеивал стены своей комнаты портретами сенатора Джо Маккарти и Роя Коуна. Об Элиоте Розуотере он и слыхом не слыхал.

Сильвия выросла среди богатых, эксцентричных и очаровательных людей, и ее европейское воспитание не позволяло ей даже подумать о том, чтобы отправить Элиота в психбольницу. А сенатор, его отец, был всецело поглощен делом своей жизни — политической борьбой — и собирал реакционные силы республиканской партии, разбитые на выборах президента Эйзенхауэра. Когда сенатору рассказали о нелепой жизни Элиота, он заявил, что его это не беспокоит, потому что его сын — человек, хорошо воспитанный.

— У него основа крепкая, стержень в нем есть, — сказал сенатор. — Занимается экспериментами, и всё. Одумается, когда время придет. Никогда в нашей семье не было и не будет хронических пьяниц или хронических психопатов.

Высказавшись в таком духе, сенатор отправился в зал заседаний Сената, где выступил с речью о Золотом веке Римской империи; в этой речи, получившей довольно широкую известность, он, в частности, сказал следующее:

– Мне хотелось бы упомянуть об императоре Октавиане, более известном под именем Цезаря Августа. Этот великий гуманист, а он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова, взял бразды правления Римской империи в период глубокого упадка, поразительно схожего с упадком нашего времени. Проституция, разводы, алкоголизм, либерализм, гомосексуализм, порнография, аборты, подкуп, разбой, рабочие бунты, преступность среди несовершеннолетних, трусость, атеизм, шантаж, клевета и воровство расцветали пышным цветом. Рим стал таким же раем для гангстеров, развратников и разленившихся рабочих, каким теперь стала Америка. Как и сейчас, в Америке, чернь открыто нападала на защитников закона и порядка, дети никого не слушались, не уважали родителей, не уважали свою родину, а порядочной женщине на улице проходу не было, даже среди бела дня! И везде верховодили, всех подкупали хитрые, пронырливые иностранцы. И под пятой столичных ростовщиков корчились чест-

ные римские фермеры, хребет римской армии, душа и опора Римский империи.

Что же можно было предпринять? Конечно, и тогда нашлись тупоголовые либералы, вроде наших теперешних пустоголовых либералишек, и говорили они то же самое, что и всегда говорят либералы, после того как доведут страну до такого состояния, когда в ней царят беззаконие, сибаритство и полиглотство: «Лучшей жизни никогда не бывало! Поглядите, какое равенство! Взгляните, как отсюда изгнали сексуальное ханжество. Красота! Раньше у человека все внутри холодело, стоило ему только подумать о насилии, о прелюбодеянии! А теперь делай что хочешь и радуйся!»

Но как же относились к этим веселым временам Римской империи мрачные и суровые пуритане-консерваторы? Мало их тогда осталось. Они постепенно вымирали, став к старости посмешищем. Их детей восстановили против отцов либералы и все поставщики синтетических радостей, синтетической лжи, все политические голые короли, защитники

даровщины, те, что любили всех одинаково, включая и всех варваров, и варваров они до того обожали, что готовы были открыть им все ворота, заставить солдат сложить оружие – дорогу варварам!

Вот в какой Рим вернулся Цезарь Август, победивший тех двух сексуальных маньяков – Антония и Клеопатру – в грандиозном морском бою при Акциуме. Не пытайтесь угадать, какие мысли ему приходили в голову при виде Рима, которым он был призван повелевать. Объявим минуту молчания, и пусть каждый как следует поразмыслит о той неразберихе, что царит у нас самих, на сегодняшний день.

Все помолчали примерно полминуты, хотя многим показалось, что прошло тысячелетие.

«Какие же меры принял Цезарь Август, чтобы навести порядок в этом развалённом доме? А сделал он то, что, как нам вечно твердят, никак и никогда делать нельзя, и ничего из этого выйти не может: он создал моральный кодекс и вводил беспощадные законы морали жестоким

полицейским насилием, и его полицейские были суровы и шутить не любили. Он объявил вне закона тех римлян, которые вели себя как свиньи. И римлян, которых уличали в свинском поведении, вешали за ноги, сбрасывали в колодцы, скармливали львам, словом, применяли к ним те меры, которые должны были пробудить в них желание вести себя пристойно и благонамеренно. Что же, помогало это или нет? Готов заложить последнюю пару башмаков – еще как помогало! Всех этих скотов как ветром сдуло. А как теперь мы называем годы, наступившие после этих, немыслимых в наше время насилий? Не более и не менее, друзья мои и ближние, как „Золотой век Римской империи“!»

Что же, неужели я стараюсь внушить вам, что надо следовать этому жестокому примеру! Да, конечно! Дня не проходит без того, чтобы я, в тех или иных словах, не говорил: «Давайте заставим американцев стать такими, какими они должны быть». Стою ли я за то, чтобы негодяев-лейбористов скармливать львам? Могу

доставить хоть маленькое удовольствие тем, кто хочет видеть во мне бронтозавра в первобытной чешуе, и подтверждаю: да, стою. Твердо, безоговорочно. Скормить сегодня же к вечеру, если можно. Но все же придется разочаровать моих критиков: конечно, я шучу. Меня ни в коей мере не привлекают жестокие и необычные способы наказания. Отнюдь! Я просто восхищаюсь, когда вспоминаю, что политика морковки и палки может заставить осла работать и что сделанные этим ослом открытия в наш космический век могут пойти на пользу человечеству».

И так далее. Сенатор сказал, что политика палки и морковки была положена в основу системы свободного предпринимательства еще со времен отцов-основателей, но что всякие благодетели рода человеческого, считая, что нечего людям бороться и добиваться, изгадили эту систему до полной неузнаваемости.

– Подводя итоги, – сказал сенатор, – я вижу перед нами две возможности. Мы можем составить Кодекс моральных законов и силой навязывать эти зако-

ны, или мы можем вернуться к Системе Свободного Предпринимательства, в которой воплощена и справедливая догма Цезаря Августа: «Тони или выплывай». Я решительно поддерживаю вторую возможность. Мы должны проявить твердую волю, чтобы снова стать нацией пловцов, и пусть не умеющие плавать спокойно идут ко дну. Я рассказал вам о жестоком веке древней истории. Но на тот случай, если вы забыли, как назывался этот век, позвольте освежить вашу память. «Золотой век Римской империи», друзья мои и ближние, «Золотой век Римской империи»!

Быть может, друзья помогли бы Элиоту выйти из тяжелого состояния, но друзей у него не осталось. Богатых приятелей он оттолкнул, непрестанно повторяя, что их богатство досталось им случайно и незаслуженно, а своих приятелей-художников уверял, что только толстозадые болваны-богачи, для которых это — единственный вид спорта, интересуются их искусством. А своих ученых друзей он спрашивал:

— По-вашему, у людей есть время читать всю эту нудную муру, которую вы печатаете, и слу-

шать ваши нудные лекции? — Когда же он стал восторженно благодарить своих друзей естествоиспытателей за изумительные научные открытия, о которых он постоянно читает в газетах и журналах, и совершенно серьезно уверять этих ученых, что благодаря науке жизнь становится все лучше и лучше, эти люди тоже стали его избегать.

Потом Элиот неожиданно обратился к психоаналитику. Он бросил пить, снова стал заботиться о своей внешности, снова проявил горячий интерес к искусству и науке, снова сблизился со многими друзьями.

Сильвия была счастлива как никогда. Но через год после начала лечения ее ошеломил звонок психоаналитика. Он отказывался от своего пациента, потому что, согласно жестким канонам школы Фрейда, Элиот лечению не поддавался.

— Но ведь вы его уже вылечили!

— Дорогая моя, если бы я был голливудским шарлатаном, я скромно признал бы свои заслуги, признал бы вашу оценку, принял бы вашу похвалу. Но я не знахарь. У вашего мужа тяжелейший, глубинный, совершенно неподступный, скрытый невроз, такого я еще в своей практике не встречал. Я даже представить себе не могу, в

чем природа этого невроза. За целый долгий год лечения мне не удалось ни на йоту пробить его защитный панцирь.

— Но он всегда возвращается от вас в чудесном настроении!

— А вы знали, о чем мы разговариваем?

— Я считала, что лучше его не расспрашивать.

— Об американской истории! Элиот — тяжело больной человек, к тому же он убил свою мать, а отец у него — настоящий тиран. И о чем же он говорит, когда я прошу его дать волю свободным ассоциациям, потоку сознания? Об истории Америки!

Утверждение доктора о том, что Элиот убил свою обожаемую мать, в какой-то мере соответствовало истине. Когда ему было девятнадцать лет, он пошел с матерью на яхте, по заливу Котьют. Он переложил кливер, и тут бимс сбил Юнис Розуотер с палубы, и она камнем пошла ко дну.

— Спрашиваю его, кого он видит во сне, — продолжал доктор, — а он мне отвечает: «Сэмюэла Гомперса, Марка Твена, Александра Гамильтона!» Спрашиваю, когда-нибудь он видит во сне

отца? Нет, говорит, зато Торстейн Веблен[7] мне снится очень часто. Миссис Розуотер, я сдаюсь. Я отказываюсь его лечить.

Пожалуй, Элиота даже позабавил отказ доктора.

— Он не понимает этот мой способ лечения и потому отказывается принять его, — заметил Элиот вскользь.

В тот же вечер они с Сильвией поехали в Метрополитен-Опера на премьеру новой постановки «Аиды», Фонд Розуотера заплатил за декорации и костюмы.

Элиот был изумительно элегантен — высокий, во фраке, с приветливой улыбкой на широком порозовевшем лице, с лучистыми голубыми глазами, которые так и сияли в полном душевном покое. Все шло прекрасно до последнего акта оперы, когда героя и героиню запирают в герметически закрытое помещение, где им предстоит смерть от удушья. Когда обреченные любовники сделали глубокий вдох, Элиот крикнул им:

— Только не пытайтесь петь, дольше продержитесь!

Элиот встал, перегнулся через барьер ложи и

---

[7] notes: 7
Веблен Торстейн (1857—1929) — американский экономист и социолог.

начал уговаривать певца и певицу:

— Вы же про кислород ничего не знаете. А я знаю. Поверьте, вам сейчас нельзя петь!

Лицо Элиота вдруг побелело, потеряло всякое выражение. Сильвия дернула его за рукав. Он растерянно взглянул на нее и дал себя увести безо всякого сопротивления — казалось, что она ведет на веревочке воздушный шарик.

Глава 3

Норман Мушари узнал, что в тот вечер, когда давали «Аиду», Элиот снова исчез, выскочив из машины на углу Сорок второй улицы и Пятой авеню, когда они ехали домой.

Десять дней спустя Сильвия получила следующее письмо, написанное на почтовой бумаге со штампом Добровольной пожарной бригады города Эльсинор, штат Калифорния. Очевидно, название городка повлияло на его раздумья о себе, потому что он в чем-то отождествлял себя с шекспировским Гамлетом:

«**Милая Офелия**!

Эльсинор оказался вовсе не таким, как я ожидал, а может быть, их несколько, и я попал не в тот Эльсинор. Правда, школьная команда футболистов называлась „Смелые датчане“. Но вся округа зовет их „Унылые датчане“. За три последних года они выиграли один раз, сделали ничью тоже один раз и проиграли двадцать четыре матча. Впрочем, проигрыш неизбежен, когда в полузащиту становится

Гамлет.

Когда мы ехали в машине, ты мне сказала напоследок, что нам, по-видимому, надо развестись. Я до сих пор не понимал, что жизнь со мной стала для тебя настолько тягостной. Зато понимаю, что я ничего не понимаю: например, я все еще никак не могу понять, что я и вправду алкоголик, хотя первый встречный сразу все видит.

Может быть, я льщу себе, думая, что у меня много общего с Гамлетом, что и у меня есть важная миссия в жизни, хотя пока что я еще не знаю, как к ней подступиться. У Гамлета было большое преимущество передо мной: тень его отца точно объяснила ему, что надо делать, а я действую безо всяких инструкций. Но что-то мне подсказывает, куда идти, что там делать и зачем это нужно. Не пугайся, никаких голосов я не слышу. Просто чувствую, что есть у меня какое-то предназначение, далекое от той пустой и показной жизни, которую мы ведем в Нью-Йорке. Вот я и брожу.

Брожу…

Для Нормана Мушари было большим разочарованием, когда он прочитал, что Элиот никаких „голосов“ *не слышит*. Но в конце письма определенно чувствовалось безумие: Элиот подробно описывал все пожарные машины Эльсинора, как будто Сильвии только это и было интересно:

> …Здешние машины выкрашены в черную и оранжевую полосы, как тигры. Вид потрясающий. В воду они подбавляют химикалии, чтобы струя легче проникала сквозь деревянные стены в пламя пожара. Это, конечно, имеет смысл, если только от химикалий не портятся насосы и шланги. Эти средства стали применять не так давно, и пока их действие проверить трудно. Здешним пожарником предложил посоветоваться с фирмой, изготовляющей, насосы и шланги, и они обещали сделать запрос. Меня они считают очень знаменитым пожарным из столичных мест. Чудесные люди. Они ничуть не похожи на тех пердунчиков и попрыгунчиков, которые стучатся в двери Фонда Розуотера. Они такие, как те американцы, с которыми я встречался

на войне.

Наберись терпения, Офелия.

Любящий тебя

Гамлет».

Из Эльсинора Элиот отправился в Вашти, штат Техас, где его сразу арестовали. Он приплелся к пожарному депо, небритый, немытый, и стал объяснять каким-то шалопаям, что правительство обязано разделить поровну все богатство страны, вместо того чтобы одни люди не знали, куда девать деньги, а другие нищенствовали. Он без умолку болтал что попало:

— Знаете, что должны были бы в первую очередь сделать наши вооруженные силы — наша армия, наш флот, наша авиация? Им следовало бы всех бедных американцев переодеть в чистую одежду, без заплаток, хорошо отглаженную, чтобы богатым американцам не стыдно было на них смотреть.

Он и про революцию говорил. Сказал, что наступит она лет через двадцать, и все пойдет отлично, если только во главе станут ветераны-пехотинцы и добровольные пожарные бригады.

Его посадили в тюрьму — подозрительная личность! Выпустили его после допроса, причем никто ничего не понял. Но с него взяли обещание

— никогда больше в городе Вашти не появляться.

Через неделю он оказался в городе Новая Вена, в штате Айова. Оттуда он снова написал Сильвии на почтовом листке со штампом тамошней добровольной пожарной бригады. Он называл ее *«самой терпеливой женщиной на свете»* и обещал, что теперь ей недолго осталось ждать.

> «Теперь мне ясно, – писал он, – куда я должен идти. И я отправлюсь туда как можно скорее! Оттуда я тебе позвоню! Быть может, я останусь там навсегда! Мне еще неясно, что я там должен делать, но я уверен, что и это скоро прояснится.
>
> Пелена спадает с моих глаз!
>
> Кстати, я сообщил здешней пожарной бригаде, что им надо бы тоже добавлять в воду химикалии, но сначала хорошо бы написать фирме, делающей насосы. В бригаде это предложение нашло отклик. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем собрании. А я уже шестнадцать часов не пью. И ничуть не страдаю без этой отравы! Привет!»

Получив это письмо, Сильвия тут же велела

присоединить к своему телефону записывающее устройство (еще один козырь для Мушари). Сильвия пошла на это, решив, что Элиот окончательно спятил. Она хотела записать каждое слово, когда он позвонит, чтобы узнать, где он находится и в каком состоянии, тогда можно будет за ним приехать.

Вскоре он позвонил:

— Офелия?

— Элиот, Элиот! Милый, где ты?

— В Америке, среди рахитичных сынов и внуков первопоселенцев-пионеров.

— Но где же ты? Где же?

— Да где-то тут, в телефонной будке, алюминиевой, застекленной, и стоит где-то в Америке, а на серой полочке лежат американские монетки — всякая мелочь. На этой же серенькой полочке еще написано одно сообщение — вечным пером.

— О чем это?

– *«Шейла Тэйлор — зануда — подразнит — и не даст!»* Похоже на правду!

В трубке послышался нахальный гудок.

— Внимание! — сказал Элиот. — Автобус «Борзой» протрубил римскую зорю у автобусной станции, она же бакалейная лавочка. Ого! Старичок-американец отозвался, вот он ковыляет

к остановке. И никто его не провожает. А он и не оглянулся, видно, и не ждет, что кто-нибудь пожелает ему доброго пути. В руке у него пакет в оберточной бумаге, перевязан веревочкой, и едет он куда-то, а там, наверное, помрет. Прощается, как видно, с этим городком, другого он никогда не видал, и с этой жизнью, другой он не знал. Впрочем, ему не до того. Зачем ему прощаться со своей вселенной, ему бы только не рассердить могучего водителя автобуса. А тот восседает на своем синем кожаном троне, смотрит сверху вниз, кипит от злости. Беда! Ну вот, влез старичок наконец, справился, а теперь никак не найдет билет! Ага, копался, копался и нашел. А водитель бесится. Дернул автобус так, что все заскрежетало. Вот какая-то старушка переходит дорогу, и гудок взревел на нее так, что стекла зазвенели. Злоба, злоба, злоба!

— Элиот, а там… там есть река?

— Моя телефонная будка стоит в широкой долине, где проходит открытая канава под названием река Огайо. Сама река отсюда милях в тридцати. В ней водятся огромные карпы, величиной с атомную подлодку, жиреют на помоях, которые выливают сыны и внуки первопоселенцев-пионеров. За рекой видны некогда зеленые

холмы штата Кентукки, обетованная земля Дэниэла Буна[8], ныне искромсанная и изрезанная открытыми шахтами, а владеет многими из этих шахт некий благотворительный и культурный Фонд, основанный интереснейшим старым американским семейством по имени Розуотеры.

На противоположном берегу реки владения Фонда несколько разбросаны. Зато миль на пятнадцать вокруг моей телефонной будки, куда ни пойдешь, почти все принадлежит Фонду Розуотера. Впрочем, одной чрезвычайно прибыльной торговли Фонд не коснулся: тут на каждом доме объявление: «Продаются дождевые черви-выползки». Главная здешняя промышленность — не считая свиней и дождевых червей — это производство пил. И разумеется, пилозавод тоже принадлежит Фонду. А так как пилы играют такую важную роль в здешней жизни, то спортивную команду средней школы имени Ноя Розуотера назвали — «Бойцы-пильщики». Но, в сущности, на пилозаводе людей уже осталось совсем мало, потому что завод почти полностью автоматизирован. Всякий, кто умеет нажать кнопку, может управлять заводом и делать две-

[8] notes: 8
Дэниэл Бун — персонаж американского фольклора.

надцать тысяч пил в день.

Мимо моей телефонной будки прогуливается сейчас молодой человек из команды «Пильщиков». Ему, вероятно лет восемнадцать, одет в традиционные сине-белые цвета. С виду он довольно грозен, но, по-моему, и мухи не обидит. Самые лучшие отметки в школе он получал по гражданскому праву и по истории современной американской демократии, а преподавал у них эти предметы тренер по баскетболу. Ему хорошо известно, что, если он совершит какое-либо насильственное действие, он не только повредит всей Американской республике, но и окончательно погубит свою жизнь. Никакой работы для него в Розуотеровских краях нет. Да и вообще ему везде чертовски трудно найти хоть какую-то работу. Он часто носит с собой в кармане презервативы, что очень многие считают предосудительным и гадким. Впрочем, тем же людям кажется и предосудительным и гадким, что отец этого мальчика никаких предохранительных средств не употреблял. И вот растет еще один мальчишка, до мозга костей испорченный сытой послевоенной жизнью, еще один красавчик с жадными глазищами. Вот он встретил свою девочку, ей лет четырнадцать, не больше, этакая Клеопатра из мелочной

лавчонки, тут бы — непечатное слово. По той стороне улицы — пожарное депо, четыре грузовика, три алкоголика, шестнадцать псов и один веселый трезвый малый с банкой полироля.

— Ах, Элиот, Элиот, вернись домой!

— Неужели ты ничего не поняла, Сильвия? Я же *дома*! Теперь я понял: мой дом всегда был тут, в городе Розуотере, в округе Розуотер, в штате Индиана.

— Но что ты там собираешься *делать*?

— Хочу *пригреть* этих людей.

— Как… как это мило! — беспомощно сказала Сильвия. Она была такая бледная, тоненькая, очень холеная и хрупкая. Она играла на арфе, прелестно болтала на шести языках. В детстве и юности она встречала в родительском доме самых знаменитых людей своего времени — Пикассо, Швейцера, Хемингуэя, Тосканини, Черчилля, Де Голля. Она никогда не бывала в Розуотере, понятия не имела, что такое «выползки», не знала, что на свете существует такой смертельно унылый край, что где-то живут такие смертельно скучные люди.

— Вот я и смотрю на этих людей, на этих американцев, — продолжал Элиот, — и вижу, что они ничего для себя сделать не могут, потому что они

никому *не нужны*. И завод, и фермы, и шахты на том берегу — все полностью автоматизировано. Америка в них не нуждается, даже для войны — теперь прошло это время. Сильвия! Я хочу заняться искусством.

— Каким искусством?

— Да искусством любить этих выкинутых из жизни американцев. Хотя они такие бесполезные, такие непривлекательные. Вот *это* и станет моим искусством.

Глава 4

Холст, на котором Элиот задумал создать картину братской любви и взаимопонимания, то есть округ Розуотер, уже послужил полотном для других Розуотеров, которые смело расчертили этот прямоугольный кусок земли вдоль и поперек. Предшественники Элиота опередили даже самого Мондриана[9]. Половина дорог шла с востока на запад, другая половина — с севера на юг. По самой середине округа, до его границы, проходил загнивающий канал, длиной четырнадцать миль. Его прорыл прадед Элиота, и канал так и остался единственной реальной попыткой осуществить мечту пайщиков — соединить таким каналом Чикаго, Индианаполис, Розуотер и реку Огайо. Теперь в канале развелись карпы, красноперки, окуни и толстолобики. Охотникам до рыбной ловли и продавали червей для наживки.

Предки тех, кто теперь торговал выползками, были когда-то пайщиками акционерного общества «Розуотеровский судоходный канал»,

---

[9] notes: 9

Мондриан Пит (1872—1944) — известный нидерландский художник-абстракционист.

соединявший Чикаго, Индианаполис и Огайо. Когда планы общества окончательно потерпели крах, разорившимся пайщикам пришлось продать свои фермы. Их скупил Ной Розуотер. Так разорилась целая община на юго-западе округа под названием Новая Амброзия. Эти утописты вложили все свое состояние в постройку канала и все потеряли. Когда-то жители Амброзии, выходцы из Германии, жили коммуной, проповедовали атеизм, многобрачие, абсолютную честность, абсолютную чистоплотность и абсолютную любовь к ближнему. Теперь их развеяло по всему свету, как те обесцененные бумажки, их акции, вложенные в строительство канала. Никто об этих людях и не помнил. Единственный их вклад в жизнь всего округа остался и при Элиоте: выстроенная когда-то этими поселенцами пивоварня, на основе которой вырос знаменитый пивоваренный завод Розуотера «Золотая Амброзия». На этикетке был изображен сказочный город — земной рай, о котором мечтали первые поселенцы Новой Амброзии. Высокие шпили украшали город их мечты. На шпилях высились громоотводы. В небе над шпилями парили херувимы.

Городок Розуотер находился в самом центре округа, а в самом центре городка стоял Парфе-

нон. Весь он, вместе с колоннами, был сложен из честного красного кирпича. Крыт он был зеленой жестью. По городу проходил канал, и когда жизнь тут кипела, пролегали пути Нью-Йоркской железной дороги и узкоколейка Мононовской никелевой компании. Когда Элиот и Сильвия решили переехать на жительство в Розуотер, остался только канал и рельсы Мононовской дороги, но компания эта давно обанкротилась, а рельсы давно заржавели.

К западу от Парфенона стоял старый Розуотеровский пилозавод — тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Сверху крыша была продавлена, стекла в окнах выбиты. Ласточки и летучие мыши жили тут коммуной, так сказать, Новой Амброзией. У всех часов, со всех четырех сторон башни, стрелок не было. Медный заводской гудок был забит птичьими гнездами.

К востоку от Парфенона стояло здание окружного суда, тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Башня с часами была копией заводской башни, только тут, на трех часах из четырех, стрелки еще сохранились, но часы все равно не шли. Как гранулема под гнилым зубом, в подвальчике старого здания примостилось некое частное заведение. Над ним светились

алые неоновые буквы: «Салон красоты Беллы», Хозяйка салона, Белла, весила триста четырнадцать фунтов.

К востоку от окружного суда простирался Мемориальный парк памяти ветеранов войны имени Сэмюэла Розуотера. Там стоял флагшток и рядом — Мемориальная доска. Под Мемориальную доску взяли лист фанеры размером четыре на восемь футов, выкрашенный в черный цвет. Лист повесили на металлическую трубку и приделали защитный козырек всего дюйма в два шириной. На Доске были написаны имена всех уроженцев Розуотеровского округа, отдавших жизнь за родную страну.

В городе было еще два каменных здания — особняк Розуотеров с гаражом, который стоял в глубине парка, на искусственном насыпном холме, окруженный изгородью из острых металлических прутьев, а к югу от особняка стоял дом, где помещалась средняя школа имени Ноя Розуотера, где учились «Пильщики» из футбольной команды. С северной стороны к парку примыкал старый Розуотеровский оперный театр — нелепейшее, похожее на свадебный торт, деревянное сооружение, где в любую минуту мог вспыхнуть пожар. Наверно, потому в нем теперь и было

устроено пожарное депо. Кроме того, в городе было множество лачуг и общественных уборных, в нем процветали алкоголизм, невежество, тупоумие, разврат и просто глупость, потому что все здоровые, умные и работящие жители Розуотеровского округа старались устроиться подальше от этого «центра».

Новое помещение Розуотеровского пилозавода, желтое кирпичное здание без окон, стояло между городком и Новой Амброзией. К нему были проложены сверкающие рельсы новой ветки Нью-Йоркской железной дороги и шуршащее шинами шоссе, проходившее в одиннадцати милях от города. Вблизи находился Розуотеровский мотель и Розуотеровский кегельбан. И тут же стояли огромные элеваторы и загоны для скота, куда свозили зерно и свиней с Розуотеровских ферм. Весь немногочисленный обслуживающий персонал — высокооплачиваемые агрономы, инженеры, пивовары — словом, все, кто ворочал делами, — жили в обособленных, удобных домиках, среди поля, неподалеку от Новой Амброзии, причем этот поселок, неизвестно почему, назывался Эвондейл[10]. При каждом доме был

[10] notes: 10

Эвовдэйл — долина Эвона — реки в Стрэтфорде-на-Эвоне, родине Шекспира.

внутренний дворик, с газовыми фонарями, обнесенный и выстланный шпалами с заброшенной старой Нью-Йоркской железной дороги.

У чистой публики, жившей в Эвондейле, Элиот считался как бы конституционным монархом. Все эти люди были служащими Розуотеровской компании, хозяйство, которым они управляли, принадлежало Фонду Розуотера. Отдавать им приказания Элиот не мог, но все равно он был их королем, и эвондейлцы это отлично понимали.

И когда король Элиот с королевой Сильвией прибыли в свою резиденцию, на них, как библейские дары, посыпались всякие знаки внимания из Эвондейла — приглашения, визиты, лестные послания и разные посетители. Но все понапрасну. Элиот попросил Сильвию принимать этих нуворишей с рассеянной и холодной, хотя и вежливой улыбкой. И все эвондейлские дамы выходили из особняка с таким напряженно-обиженным видом, будто им, как сострил Элиот, засунули в задницу соленый огурец.

Интересно, что эвондейлские технократы, которые так безудержно рвались в высшее общество, считали, что холодность, с которой их встречали у Розуотеров, можно было объяснить тем, что Розуотеры и на самом деле выше их. Эта теория

им очень нравилась, и они постоянно обсуждали поведение Розуотеров. Им самим до смерти хотелось стать настоящими великосветскими снобами, и они считали, что Сильвия с Элиотом подают им пример, как надо себя вести.

Но вдруг король с королевой вынули фамильное серебро, золото и хрусталь из сыроватых сейфов Розуотеровского Областного Народного банка и стали задавать роскошные пиры для всяких проходимцев, психопатов, извращенцев, для всех голодных и безработных. Часами они терпеливо выслушивали исповеди людей, живущих в вечном страхе и ожидании, про которых любой здравомыслящий человек сказал бы, что им лучше не жить на свете. Элиот и Сильвия относились к ним ласково, давали немного денег. Только с членами добровольной пожарной бригады они могли встречаться, как равные с равными. Элиот быстро заслужил звание лейтенанта, а Сильвию избрали президентом Женского Вспомогательного отряда. И хотя Сильвия никогда в жизни не играла в кегли, ее выбрали капитаном кегельной команды этого отряда.

Все подлипалы и подхалимы из Эвондейла стали посматривать на королевскую чету сначала недоверчиво и недоуменно, а потом вдруг

словно с цепи сорвались. Хамство, бахвальство, пьянство, разврат, разводы росли час от часу. Со скрежетом зубовным, словно водя пилой по жести, эвондейлцы говорили о короле с королевой, как будто уже удалось свергнуть этих тиранов. Куда девались жившие в этом тихом поселке молодые служаки и карьеристы. Теперь они сами стали правящим классом.

Пять лет спустя Сильвия заболела: в нервном припадке она подожгла пожарное депо, и тут республиканцы из Эвондейла проявили по отношению к роялистам Розуотерам садистическую жестокость. Весь Эвондейл над ними смеялся…

Сильвию поместили в частную нервную клинику. Ее отвез туда сам Элиот вместе с Чарли Уормерграном, начальником пожарной бригады. Отвезли ее в машине начальника, красном пикапе, с сиреной на крыше. Лечить ее взялся молодой невропатолог, доктор Эд Браун, который впоследствии очень прославился, описав историю ее болезни. В своей статье он называл Элиота и Сильвию *«мистер и миссис Икс»*, а город Розуотер — *«городом Эн в США»*. Он придумал новый термин для болезни Сильвии: *«самаратрофия»*. Слово, обозначавшее, как он объяснял,

«истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту».

Норман Мушари читал доклад доктора Брауна, лежавший в папке секретных документов в конторе Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги. Своими карими, влажными, маслянистыми глазами он видел эти строки, как, впрочем, и весь мир, словно сквозь бутылку с оливковым маслом.

«Самаратрофия, — читал Мушари, — есть подавление всем сознанием пациента излишне громкого голоса совести. „Слушайтесь только меня!“ — вопит совесть всему активно работающему сознанию. На какое-то время весь разум пытается подчиниться голосу совести, но потом начинает осознавать, что голос совести не умолкает и продолжает вопить. Кроме того, человек начинает понимать, что мир, в котором он живет, и где он старался жить по совести, ни на один микрон не стал лучше от всех его благородных и бескорыстных поступков, совершенных по велению совести.

И тут разум начинает бунтовать. Он сбрасывает тиранку-совесть в подвал подсознания, накреп-

ко завинчивает выход из этой темницы. Голос совести больше не слышен. И в наступившей сладкой тишине разум начинает искать нового руководителя, он уже всегда наготове и только выжидает, чтобы умолкла совесть. И сознанием овладевает он — Просвещенный Эгоизм.

Эгоизм вручает человеку пиратский флаг, классический „Веселый Роджер“, где на черном фоне — белый череп, скрещенные кости и надпись: „Катись к чертям, Джек, я свое взял!“

Я считал неразумным, — захлебываясь читал Норман Мушари, — снова дать полную волю голосистой совести миссис Икс. А выписать пациентку, когда она стала бессердечней Ильзы Кох, тоже казалось неправильным. И я поставил целью психологического воздействия — не давать совести пациентки снова взять волю над ее сознанием, держать эту совесть, так сказать, в темнице, но слегка приоткрыть люк подземелья, чтобы голос совести все же смутно доходил до миссис Икс. И я достиг этого результата, правда, не сразу, пробуя и химиотерапию и электрошок. Но гордиться мне было нечем: женщину глубокую, вдумчивую я хотя и успокоил, но превратил в существо пустое и поверхностное. Я как бы перекрыл те глубинные истоки, которые затем

выходили на океанский простор ее сознания, и она успокоилась, стала похожа на мелкий плавательный бассейн, диаметром фута в три, глубиной в четыре дюйма, с хлорированной водичкой, подкрашенной синькой».

Вот это врач!

Вот это лечение!

Доктор Браун старался найти те образцы, по которым можно было бы перестроить сознание миссис Браун, чтобы она, хотя бы отчасти, могла бы испытывать без неприятных последствий и угрызения совести, и жалость к ближним. Такими образцами должны были служить люди, считавшиеся совершенно нормальными. Но когда он стал искать среди этих людей, кого взять за образцы, он с глубоким огорчением увидел, что у вполне нормальных, вполне приспособленных к жизни людей из высших слоев нашего процветающего индустриализированного общества совести либо нет и в помине, либо голос ее чуть слышен.

«Выходит, что логически мыслящий читатель может обвинить меня в пустой болтовне — зачем я выдумал какую-то болезнь, самаратрофию, когда подавление совести — такая же неотъемлемая

черта многих здоровых, нормальных американцев, как, например, их нос. Скажу в свою защиту следующее: самаратрофией заболевают в довольно опасной форме только те, очень редкие в наше время индивиды, которые, даже достигнув биологической зрелости, все-таки еще по-детски пытаются любить ближнего и помогать ему.

Мне пришлось лечить только один такой случай. Я никогда не слышал, чтобы другие врачи сталкивались с этим заболеванием. Думаю, что опасность самаратрофического припадка грозит только еще одному известному мне человеку. Человек этот, понятно, сам мистер Икс. И он так глубоко погряз в благотворительных делах, что, если у него вдруг проснется самаратрофическое отвращение ко всему этому, он либо покончит с собой, либо перестреляет добрую сотню своих подопечных, а тогда и его самого пристрелят, как бешеную собаку, прежде чем мы возьмемся его лечить».

Лечил, лечил и долечил…

«Мы лечили и вылечили миссис Икс в нашем оздоровительном санатории, и, выписываясь, она выразила желание „начать жить заново, наслаждаться жизнью вовсю“, пока не увяла ее красота. Она все еще была поразительно хороша

собой и казалась воплощением доброты, хотя этой доброты в ней уже не было. Ни о городке Эн, ни о мистере Икс она и слышать не хотела, сказала мне, что возвращается к радостям парижской жизни, к своим милым, веселым друзьям. Она заявила, что хочет покупать новые наряды, и танцевать, танцевать до упаду, пока не сомлеет в объятиях высокого смуглого красавца, наверное, иностранца, хорошо бы — тайного агента двух держав.

В разговоре со мной, писал Браун, она часто называла своего мужа „тот дядька с Юга, пьяница, неряха“, но, конечно, в лицо ему она этого никогда не говорила. Она совсем не шизофреничка, но, когда муж навещал ее, — а он приезжал три раза в неделю, — ее поведение было весьма странным. Словно она играла роль. То она гладила его по щеке, то хотела его поцеловать и вдруг со смехом отшатывалась. Она даже говорила ему, что съездит в Париж ненадолго, только повидать своих любимых родителей, и что она сразу вернется к нему. И она просила передать привет всем их подопечным, всем этим несчастным, милым людям в городке.

Но мистера Икса трудно было обмануть. Он проводил ее в Париж с аэродрома в Индианаполисе,

и, когда самолет стал только точкой в небе, он сказал мне, что он ее больше никогда не увидит.

— Бесспорно, вид у нее был счастливый, — сказал он мне, — она, бесспорно, будет чувствовать себя прекрасно, когда опять вернется в свою среду, к той жизни, которой она достойна.

Он дважды сказал „бесспорно“. Меня это немного задело. И я интуитивно почувствовал, что он задевает меня намеренно. Так и было.

— И главная заслуга, — сказал он, — бесспорно, ваша».

Родители миссис Икс, разумеется, настроенные по отношению к мистеру Икс весьма неприязненно, сообщили мне, что он ей часто пишет и звонит по телефону. Писем она не читает, к телефону не подходит. И они с радостью подтверждают, что она вполне довольна жизнью, на что, кстати, надеялся и сам мистер Икс.

Прогноз: Со временем — повторение нервного срыва.

Теперь о мистере Икс. Он, бесспорно, тоже болен; мне, бесспорно, не приходилось видеть человека, похожего на него. Из городка он выезжает редко, и то очень ненадолго, и ездит он только до Индианаполиса.

Предполагаю, что он никак не может уехать из городка. А почему?

Позволю себе отступить от чисто научной терминологии, потому что научный подход совершенно противопоказан врачу, столкнувшемуся с таким пациентом: этот городок предназначен ему Судьбой.

Добрый доктор правильно поставил диагноз: Сильвия стала звездой в интернациональной плеяде «золотой» молодежи, пользовалась огромным успехом, научилась блестяще танцевать все модные танцы, ее прозвали Герцогиней Розуотерской. Многие предлагали ей руку и сердце, но она так наслаждалась вольной жизнью, что думать о браке или разводе ей совсем не хотелось. Но в июле 1964 года с ней снова случился тяжелый нервный срыв.

Ее лечили в Швейцарии. Она вышла из клиники притихшая, печальная и снова почти до невыносимости углубленная в себя. Снова в ней заговорила совесть и жалость к Элиоту и обездоленным жителям Розуотера. Она собиралась вернуться к ним, не оттого, что ей этого очень хотелось, но из чувства долга. Однако лечащий врач предостерег ее: возвращение в Розуотер может оказаться для нее роковым. Он посоветовал

ей не уезжать из Европы, развестись с Элиотом и начать вести спокойную, интересную, осмысленную жизнь.

И контора Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги взяла на себя обязанность культурно и спокойно провести бракоразводный процесс.

И вот пришла пора, когда Сильвии надо было вылететь в Америку, чтобы оформить развод. Июньским вечером сенатор Листер Эймс Розуотер, отец Элиота, назначил встречу в своем вашингтонском особняке. Элиот не приехал. Он не захотел покинуть Розуотер. На встрече присутствовала Сильвия, сам сенатор, старейший партнер адвокатской конторы Тэрмонд Мак-Алистер и его бдительный молодой помощник Норман Мушари.

В этот вечер разговор шел откровенный, даже задушевный, всепрощающий, иногда очень веселый, но, в сущности, глубоко трагический. Пили бренди.

— В глубине души, — говорил сенатор, встряхивая лед в бокале бренди, — Элиот любит тамошнее отребье не больше, чем я. И не будь он все время без просыпу пьян, он не любил бы его никогда. Я постоянно утверждал и буду это

утверждать. Все дело в пьянстве. Излечить бы его от пьянства, и вся его жалость к этим поганым червякам, которые копошатся на дне среди человеческих отбросов, испарилась бы бесследно.

Он стукнул кулаком по ладони, покачал головой:

— Ребятенка бы вам родить!

Ему нравилось подражать говору старого фермера-свиновода из Розуотеровского округа, хотя сам он воспитывался в колледже Сент-Пол и окончил Гарвардский университет. Сдернув очки в стальной оправе, он уставился на невестку, страдальчески сощурив голубые глаза.

— Если бы да кабы!

Снова надев очки, он безнадежно развел руками. Руки у него были в старческих пятках, как щиток черепахи.

— Видно, пришел конец роду Розуотеров.

— Но ведь есть и *другие* Розуотеры, — деликатно напомнил Мак-Алистер.

Мушари передернулся — ведь он и собирался стать представителем именно этих других Розуотеров.

— Я говорю о *настоящих* Розуотерах! — сердито крикнул сенатор. — К *черту* этих писконтьютцев!

В прибрежном поселке Писконтьют, на Род-Айленде, жили единственные представители другой ветви рода Розуотеров.

— Запируют эти стервятники, запируют! — бормотал сенатор, нарочно терзая себя: он уже видел в воображении, как Розуотеры с Род-Айленда рвут клювами мясо с костей индианских Розуотеров. Он вдруг хрипло закашлялся. Ему стало неловко. К тому же он был заядлым курильщиком, как и его сын.

Он подошел к камину, уставился на цветную фотографию Элиота. Фото было сделано в конце второй мировой войны. С него смотрел молодой капитан пехоты, с множеством орденов.

— Такой чистый, такой статный, такой целеустремленный! Да, такой чистый, чистый, чистый! — сказал сенатор и скрипнул вставными зубами. — Какой благородный ум погибает! — процитировал он.

Он машинально поскреб висок.

— А каким стал он сейчас — рыхлый, бледный — непропеченное тесто, да и только! Спит в белье, а питается чем? Ест хрустящий картофель, пьёт виски «Южная услада» и запивает пивом «Золотая Амброзия». — Сенатор постучал пальцем по фотографии: — Он! Он! Капитан Элиот

Розуотер, награжден Бронзовой Звездой, Серебряной Звездой, Солдатской медалью, Орденом Алого Сердца первой степени! Чемпион-яхтсмен! Чемпион по лыжному спорту! И это он! Он! Мой бог, сколько раз жизнь твердила ему: «Да, да, да!» Миллионы долларов, сотни выдающихся друзей, самая красивая, умная, талантливая, любящая жена на свете! Блестящее образование, светлый дух в здоровом, крепком теле. И что же он отвечает жизни, когда она ему говорит: «Да! Да! Да!»? — «Нет! Нет! Нет!» — говорит он. А почему? Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему?

Но все промолчали.

— Была у меня кузина — кстати, из Рокфеллеров, — продолжал сенатор, — и она мне рассказывала, что с пятнадцати до восемнадцати лет она всегда твердила одно и то же: «Нет, спасибо! Нет, спасибо!» Все это вполне мило для молодой девицы из их семьи. Но *в юноше* из этой же семьи Рокфеллеров это выглядело бы дьявольски неприятной чертой, а уж для юноши из семейства Розуотеров это было бы совершенно недопустимо.

Он пожал плечами:

— Что ж, ничего не поделаешь, есть теперь у нас в семье Розуотер, который на все хорошее, что

предлагает ему жизнь, отвечает: «Нет, нет, нет!» Он даже не желает жить в своем Розуотеровском особняке.

Элиот действительно переехал из особняка в конторское помещение, когда узнал, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.

— Ему стоило бровью повести — и он стал бы губернатором Индианы! Он мог бы стать Президентом Соединенных Штатов, ему для этого и стараться бы почти не пришлось. А кто он теперь? Кто он теперь?

Сенатор снова закашлялся и сам ответил на свой вопрос:

— Он теперь нотариус, друзья мои и ближние, обыкновенный нотариус, а скоро и эти его полномочия истекут.

В общем, это было верно. Единственный официальный документ, висевший на сырой фанерной стенке в элиотовской конторе, где все время толпился народ, было удостоверение, дающее ему право оформлять, как нотариусу, всякие бумаги. Кое-кому из множества посетителей, приходивших к нему за советом и помощью, надо было заверять свои подписи.

Контора Элиота находилась на Главной улице, через один квартал, к северо-востоку от кирпич-

ного Парфенона и через дорогу от пожарного депо, отстроенного Фондом Розуотера. Помещалась она в наспех сколоченной мансарде над закусочной и пивной. В мансарде было всего два окошка в глубоких нишах. Вывеска у одного окошка гласила: «Закуски», у другого — «Пиво». Под обе вывески было проведено электричество с мигалками. И когда в Вашингтоне сенатор бушевал, крича о нем, о нем, о нем, Элиот спал, как малое дитя, под миганье электрической рекламы.

На губах Элиота мелькнула улыбка, он что-то ласковое пробормотал, повернулся на бок и захрапел. Бывший спортсмен, человек огромного роста — шесть футов с лишним, — он теперь обрюзг, весил уже двести тридцать фунтов и сильно полысел — только на макушке еще остался вихор. Спал он в длинных, не по росту кальсонах армейского образца, свисавших складками, как шкура у слона. На каждом окне мансарды и у входной двери блестели золотые буквы надписи:

Фонд Розуотера.
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Глава 5

Элиот спал сладким сном, хотя забот у него было по горло. Не спал лишь бачок унитаза в затхлой и тесной уборной мансарды, казалось, что его душат кошмары. Он вздыхал, он всхлипывал, он захлебывался, как утопающий. На бачке грудой лежали банки с консервами, номера географического журнала, налоговые бланки. В раковине мокла в холодной воде грязная миска и ложка. Аптечка над раковиной была открыта настежь. В ней навалом лежали витамины, таблетки от головной боли, геморроидальные свечи, слабительные и успокоительные. Элиот и сам принимал эти лекарства, но главным образом раздавал посетителям, которые вечно жаловались на всякие недомогания.

Им было мало доброго отношения и сочувствия и даже денежной помощи — они непременно выпрашивали всякие лекарства.

Кипы бланков лежали везде: налоговые бланки, бланки для удостоверений Союза ветеранов, пенсионные бланки, бланки страхования жизни, бланки социального обеспечения и бланки поручительские. Кипы бланков разваливались,

россыпи превращались в подобие дюн, а между дюнами валялись бумажные стаканчики, пустые жестянки из-под пива «Золотая Амброзия» и пустые бутылки из-под виски «Южная услада».

На стенах были прикноплены всякие картинки — Элиот их вырезал из иллюстрированных журналов «Лайф» и «Лук». Легкий и прохладный ветерок шуршал сейчас листками, видно, надвигалась гроза. Элиот заметил, что от некоторых картинок людям становится веселее. Особенно всех трогают снимки всяких маленьких зверушек. Любили его гости и фотографии всяких катастроф. А на космонавтов им смотреть было скучно. Нравились им и портреты Элизабет Тэйлор, потому что они ее ужасно презирали, считали куда ниже себя. Самым любимым их героем был Авраам Линкольн. Как ни старался Элиот поднять популярность Томаса Джефферсона и Сократа, но почти все от раза до раза успевали забыть, кто это такие.

— А кто же из них кто? — спрашивали они.

В мансарде когда-то работал зубной врач. Ничто не напоминало о прежнем хозяине, кроме лестницы, ведущей наверх прямо с улицы. Там над каждой ступенькой дантист прибил жестяную табличку с предложениями разных зубоврачеб-

ных услуг. Таблички так и остались над каждой ступенькой, но Элиот закрасил надписи. Сверху он написал новые слова — стихи Уильяма Блейка вразбивку, над каждой из двенадцати ступенек. Вот как выглядели эти стихи:

Ангел стоял
Над моей
Колыбелью.
Он мне сказал:
Ты – Радость,
Веселье!
Всех полюби
На земном
Пути,
Ни от кого
Подмоги
Не жди!

А внизу, под лестницей, сам сенатор как-то написал другое стихотворение Блейка:

Любовь – утеха для себя:
Другого – полонить, любя,
У милого – покой отнять

И ад на небесах создать.

В данный момент у себя в Вашингтоне сенатор сказал, что лучше бы и ему и Элиоту умереть — и все.

— А мне… мне пришла в голову одна идея, правда, довольно Примитивная, — сказал Мак-Алистер.

— Последняя ваша примитивная идея лишила меня возможности распоряжаться капиталом в восемьдесят семь миллионов долларов.

По усталой улыбке Мак-Алистера видно было, что он и не собирается извиняться за то, что именно по его идее был создан Фонд Розуотера. Именно благодаря этому плану, как и было задумано, капитал переходил от отца к сыну, а налоговое управление не получало ни гроша.

— Я хотел предложить, — сказал Мак-Алистер, — чтобы Элиот и Сильвия сделали последнюю попытку примириться.

Сильвия покачала головой.

— Нет, — прошептала она. — Простите, не могу. — Она полулежала в большом кресле свернувшись калачиком и сбросив туфли. — Нет…

Безукоризненный овал ее бледного до синевы лица был обрамлен черными, как смоль, прядями волос. Темные круги лежали под глазами.

— Нет!

С медицинской точки зрения это было вполне разумное решение. После второго нервного срыва Сильвия, хотя и выздоровела, но стала уже совсем не той Сильвией, какой была в самом начале розуотерской жизни. Она стала другим человеком, и это было третьим ее перевоплощением за годы ее брака с Элиотом. Теперь ее мучило и сознание собственной бесполезности, и стыд за то, что ей были физически противны и те жалкие люди, и антисанитарный быт Элиота, и все же преследовала самоубийственная мысль — преодолеть это отвращение, снова вернуться в Розуотер и погибнуть там ради благого дела.

И сейчас она отказывалась, только следуя, врачебным предписаниям, только застенчиво сопротивляясь порыву — безоговорочно принести себя в жертву:

— Нет…

Сенатор сбросил портрет Элиота с каминной доски:

— Кто ж посмеет осудить ее? Неужто можно еще хоть раз переспать с этим пьяным бродягой, хотя он и приходится мне сыном? — Он тут же извинился: — Простите старика, но, когда всякая надежда пропала, невольно сорвется слово, хоть

и грубое, зато точное. Простите, пожалуйста!

Сильвия низко наклонила свою прелестную головку и вдруг выпрямилась:

— Но для меня он вовсе не такой — не пьяный бродяга!

— А для меня — такой, честью клянусь! Каждый раз, как приходится его видеть, у меня одна мысль: «Вот рассадник всякой заразы, всяких эпидемий». Не надо щадить меня, Сильвия. Мой сын недостоин быть мужем хорошей женщины. Ему по заслугам досталась эта слюнтяйская жизнь среди шлюх, симулянтов, сутенеров и воров.

— Нет, папа Розуотер, они совсем не такие скверные.

— А по-моему, Элиота именно и тянет к ним потому, что в них ничего хорошего нет.

Недаром Сильвия пережила два нервных срыва и теперь ничего светлого в будущем не ждала. Ей только и оставалось спокойно, как советовал ее доктор, сказать:

— Мне спорить не хочется.

— Неужели ты еще *можешь* защищать Элиота?

— Да. И если я сегодня еще ничего не могу объяснить, то одно для меня совершенно ясно. И я вам говорю: Элиот совершенно прав во всех своих

поступках. То, что он делает, прекрасно. А у меня просто не хватает сил, доброты не хватает, чтобы помогать ему, быть с ним. И это моя вина.

По лицу сенатора было видно, как его огорчили и озадачили слова Сильвии. Потом он растерянно попросил:

— Но ты сама скажи, что в них хорошего, в этих людях, с которыми Элиот так возится?

— Не знаю.

— Так я и думал.

— Это в них скрыто, — сказала Сильвия умоляющим голосом, чувствуя, что ее против воли, силой втягивают в спор. Но сенатор не понимал, как он ее мучит, и беспощадно продолжал:

— Но ты тут среди своих, неужели ты не можешь открыть нам, что же там в них скрыто?

— То, что они — люди, — сказала Сильвия. Она обвела взглядом все лица, ища в них хоть проблеск сочувствия. Ничего она не увидела. Последним, на кого она посмотрела, был Норман Мушари. Мушари ответил ей отвратительной, похабной и жадной ухмылкой. Сильвия внезапно извинилась, вышла из комнаты, заперлась в ванной и заплакала.

А в Розуотере уже гремела гроза, и пегий пес вылез из пожарного депо, пуская с перепугу

слюни, будто заболел водобоязнью. Дрожа всем телом, он остановился посреди мостовой. Улицу скупо освещали фонари, расставленные далеко друг от друга. В полумраке мигала только синяя лампочка над входом в полицейский участок, помещавшийся в первом этаже здания суда, красная лампочка у пожарного депо, и белая — в телефонной будке, у самой закусочной Кэнди Китчен, около автобусной станции.

Загрохотал гром. Молния превратила все в голубую алмазную россыпь.

Пес с воем бросился к конторе Фонда Розуотера и стал царапаться в дверь. Но Элиот не проснулся. Над его головой, слабо просвечивая, сохла рубашка, колыхаясь под сквозняком, как белое привидение. У Элиота была только одна рубашка. И костюм тоже был только один — замусоленный, синий в белую полоску двубортный костюм, сейчас висевший на ручке двери в уборную. Сшит он был на совесть и все еще держался, хотя лет ему было очень много. Элиот выменял его еще тогда, в 1952 году, у какого-то типа в Новом Египте, штат Нью-Джерси.

И черные кожаные башмаки были единственной обувью Элиота, кожа на них покрылась сетью трещинок, после того как Элиот попробовал

почистить их «Самоблеском» — натиркой для паркета, отнюдь не предназначенной для чистки башмаков. Один башмак стоял на столе, другой — в уборной, на краю умывальника. Из каждого башмака торчал рыжий нейлоновый носок с подвязкой. Подвязка из башмака, стоявшего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее, по чудодейственному закону капиллярности, вымок и весь носок.

Кроме картинок из журналов, в комнате яркими пятнами выделялись только огромная коробка стирального чудо-порошка «Тайд» и форма пожарника — желтая куртка и красный шлем, — висевшая на крюке у входной двери. Элиот был лейтенантом пожарной бригады. Он без труда мог бы стать и капитаном, и даже начальником дружины, — работал он на пожарах умело и старательно, а кроме того, подарил местным пожарникам шесть новых машин. Но, по собственному настоянию, он оставался в чине лейтенанта.

Так как Элиот почти никогда не уходил из своей конторы и только ездил тушить пожары, все сигналы тревоги передавались через него. Для этого он и установил около своей койки два телефона: по черному телефону он отвечал по

делам Фонда, по красному — на вызовы в случае пожара. Когда звонили о пожаре, Элиот тут же нажимал красную кнопку на стене под нотариальным удостоверением. Кнопка приводила в действие оглушительную, как трубный глас в день Страшного суда, сирену под круглой башней на здании депо. И сирена и башня были, разумеется, оплачены Элиотом.

Снова грянул оглушительный удар грома.

— Брось, брось, брось, — забормотал Элиот, не просыпаясь. Даже когда позвонит черный телефон, Элиот проснется не сразу и ответит только на третий звонок. Он возьмет трубку и скажет то, что говорил всегда, в любой час дня и ночи:

— Фонд Розуотера. Что мы можем сделать для вас?

Сенатор воображал, что Элиот связался с преступным миром. Он ошибался. Клиентам Элиота ни смелости, ни ловкости на преступления не хватало. Но Элиот ошибался ничуть не меньше, защищая своих клиентов, особенно перед отцом, банкирами и юристами. Он доказывал, что те, кому он старается помочь, — прямые потомки людей, расчищавших заросли, осушавших болота, строивших мосты, и что эти люди во время войны были становым хребтом американской

пехоты — и так далее. Но те, кто постоянно выклянчивали у Элиота помощь, были по большей части куда слабее, да и тупее, чем их предки. А когда сыновьям этих семейств подходило время идти на военную службу, их обычно признавали негодными и по здоровью, и по умственному развитию, и по моральным качествам.

Были среди розуотерских бедняков и люди покрепче, и те из гордости держались подальше от Элиота, с его любовью ко всем, без разбора, огулом. У них хватало упорства — и они старались вырваться из своего городка, искали работы — кто в Индианаполисе, кто в Детройте, а кто и в Чикаго. Найти постоянное место удавалось немногим, но все они хотя бы старались пробиться.

В эту минуту по черному телефону Элиота звонила шестидесятивосьмилетняя старая дева, до того безмозглая, что, по мнению большинства, ей и жить на свете не стоило. Звали ее Диана Луун-Ламперс. Никто никогда не любил ее. Да и любить ее было не за что — до того она была некрасивая, глупая и унылая. Когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, что случалось не так уж часто, она полностью называла свое имя и фамилию и непременно упоминала те светочи, от слияния которых началось ее бессмысленное

существование:

— Мамаши моей фамилия была Луун, а папаши — Ламперс.

Помесь Луны и Лампы служила горничной в родовой усадьбе сенатора Розуотера — особняке из фасонного кирпича, где хозяин проводил от силы дней десять в году. В остальные 355 дней Диана была полной хозяйкой двадцати шести комнат. И она одна их, убирала, убирала без конца, хотя была лишена даже единственного удовольствия — винить кого-нибудь за беспорядок.

После уборки Диана уходила к себе — она жила над гаражом Розуотеров, рассчитанным на шесть легковых машин. Теперь там стоял только старый фордик марки *«фаэтон»* выпуска 1936 года, поднятый на подставки, и трехколесный велосипедик, с пожарной сиреной, на котором когда-то катался маленький Элиот.

У себя дома Диана включала потрескавшийся приемник из зеленого пластика или смотрела картинки в Библии. Читать она не умела. Библия у нее была старая, совсем истрепанная. На тумбочке у кровати стоял белый телефон марки *«принцесса»*, взятый напрокат в Индианской телефонной компании. За прокат Диана платила, сверх обычной платы, еще семьдесят пять

центов.

Вдруг снова грянул гром.

Диана в испуге закричала: «Помогите!» И не удивительно: в 1916 году молния убила обоих ее родителей, на пикнике, устроенном сенатором для служащих лесничества. Диана была твердо уверена, что молния убьет и ее. И оттого, что у нее вечно болела поясница, она не сомневалась, что молния попадет ей прямо в больные почки.

Она схватила трубку телефона, своей белой «принцессы» и набрала номер — единственный номер, который она умела набирать. Стеная и всхлипывая, она ждала, пока ей ответят.

Ответил ей Элиот. Его мягкий, отечески добрый, полный человечности голос прозвучал, как низкие звуки виолончели:

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Опять электричество за мной гоняется, мистер Розуотер. Вот и звоню вам. Уж очень мне боязно.

— Звоните, милая моя, звоните когда угодно, для того я тут и нахожусь.

– *Доконает* оно меня, не выжить мне.

— Черт его дери, это электричество! — Элиот искренне негодовал. — Вот проклятое, зло меня берет, право! Да как оно смеет мучить нас все

время! Свинство, и все!

— Пусть бы уж сразу меня убило, а то все гремит, разговаривает, покою нет.

— Ну нет, не надо! Весь город по вас плакать будет.

— А кому до меня дело?

— Мне, дорогая моя, *мне*.

— Да кто обо мне пожалеет?

— Я пожалею.

— Да вы-то всех жалеете. А еще кто?

— Многие, многие пожалеют, милая моя.

— Да кого тут жалеть, дуру старую! Мне шестьдесят девятый год пошел.

— Какая же это старость — шестьдесят восемь лет?

— Нет, трудно человеку прожить целых шестьдесят восемь лет и ничего хорошего не видать. А у меня ничего хорошего в жизни не было. Да и откуда ему быть? Видно, я за дверьми стояла, когда Господь человекам мозги раздавал.

— Да неправда это, *неправда*!

— Видно, я и тогда за дверьми стояла, когда Господь людям тела раздавал — крепкие да красивые. Я и девчонкой ни бегать не могла, ни прыгать. И вечно хворала, дня не помню без хвори. С самых малых лет то живот пучило, то ноги

пухли, с тех самых пор и почки стали болеть. И не было мне входа к Господу, когда он деньги раздавал и удачу. А потом набралась я храбрости, вышла из-за дверей и говорю, тихонько так шепчу: «Господи боже, всеблагой, всемогущий, вот она я, бедная, несчастная!» А у него-то уже ничего хорошего и не осталось. И пришлось ему выдать мне нос картошкой, и волосы, что твоя проволока, и голос, как у лягушки.

— Да не похож ваш голос на лягушачий, Диана. Приятный у вас голос.

— Нет, голос у меня как у лягушки, — настаивала Диана. — Там, на небе, и лягушка была, мистер Розуотер. И хотел ее Господь на нашу бедную землю послать. А лягушка эта была умная, старая такая лягва, хитрая. И говорит она Господу, лягва эта: «Нет, Господи, ежели тебе не трудно, оставь меня тут, не посылай родиться на земле, что-то там лягушкам неважно живется. Лучше я тут останусь». И отпустил ее Господь прыгать по небу, а голос от нее взял и *мне* отдал.

Снова грянул гром. Голос у Дианы стал выше на целую октаву:

— Ох, зачем я не сказала Господу, как та лягушка: «Лучше бы и мне на свет не родиться, тут и для Дианы ничего хорошего нет».

— Ну бросьте, Диана, бросьте! — сказал Элиот и отпил прямо из бутылки глоток «Услады».

— А почки меня день-деньской мучают, мистер Розуотер. Ну прямо будто шаровая молния огнем по ним прыгает, крутится-вертится, а из нее бритвы торчат, острые, ядовитые.

— Плохая штука, ничего не скажешь.

— Еще бы!

— Очень вас *прошу*, дорогая моя, пойдите вы к доктору, пусть посоветует, что вам делать с этими подлыми почками.

— Да была я у врача. Сегодня ходила к доктору Винтеру, вы же мне сами велели, а он со мной так обращался, будто я — корова, а он ветеринар, да еще под мухой. Он меня крутил, и вертел, и мял, а потом смеется: хорошо бы, говорит, чтоб у всех моих пациентов в Розуотере были такие замечательные почки! Говорит — все это у вас одно воображение. Нет, мистер Розуотер, теперь другого доктора, кроме вас, у меня нету.

— Какой же я доктор, милая моя!

— Все равно. Вы больше болезней вылечили, да еще самых застарелых, чем все доктора во всей Индиане.

— Да что вы, что вы…

— Дейв Леонард нарывами мучился, а вы его

вылечили. У Неда Келвина с самого детства глаз как дергался — а теперь все прошло, с вашей же помощью. А Пэрли Флемминг только вас увидала — и костыль бросила. Вот и у меня сейчас почки совсем болеть перестали, как услышала ваш голос, такой ласковый.

— Я рад.

— И гром не гремит, и молнии уже нету. Гроза и вправду прошла, слышалась только неисправимо сентиментальная песенка дождя.

— Теперь-то вы уснете, дорогая моя?

— Да, спасибо вам. Ах, мистер Розуотер, вам бы при жизни памятник поставить, посреди города, большую такую статую, из чистого золота, всю в бриллиантах, самых драгоценных рубинах, каким и цены нет, а еще лучше бы — целиком из этого самого ураниума; как подумаешь, какого вы знатного роду, какое образование получили, сколько у вас денег и какой вы обходительный, вежливый, ваша матушка вот как хорошо вас воспитала, да вам бы жить в столице, разъезжать в кадиллаках, с самыми важными шишками якшаться, да чтоб вас с оркестром встречали, чтоб весь народ кричал «ура!». Вам бы занимать самое высокое место на свете, глядеть оттуда на нас, бедных, на серость нашу да на глупость и думать,

что это там за козявки ползают?

— Ну бросьте, бросьте!

— Вам бы каждый позавидовал! И ведь все у вас было, а вы все бросили, пришли к нам, бедным, на помощь. Думаете, мы этого не понимаем? Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер! Спокойной ночи!

Глава 6

— Да, сама природа подает нам сигнал «опасно!», — хмуро сказал сенатор Розуотер Сильвии, Мак-Алистеру и Мушари. — А сколько я их проглядел, этих сигналов. Да, пожалуй, все проглядел!

— Вы не виноваты, — сказал Мак-Алистер.

— Если у человека есть один-единственный сын, — продолжал сенатор, — а его семья всегда славилась людьми волевыми, исключительными, по каким же признакам тогда определять — нормальный у него сын или нет?

— Но вы же *не виноваты*.

— Но ведь я всю жизнь требовал, чтобы за все свои неудачи человек винил только самого себя.

— Но для кого-то вы, вероятно, делали исключения.

— Очень редко.

— Вот и сделайте такое редкое исключение для самого себя. Вы именно и относитесь к этим исключениям.

— Я ведь часто думаю, что Элиот никогда не стал бы таким, если бы наша местная пожарная бригада не подняла вокруг него всю эту идиотскую шумиху, когда он был мальчишкой. Сделали

его, видите ли, «талисманом» бригады, избаловали вконец. Чего только они ему не разрешали — сажали его рядом с первым номером, разрешали звонить в колокол, научили делать выхлоп на машине, гоготали как дураки, когда у него лопнул глушитель. И от всех от них несло спиртным.

Сенатор замотал головой, прищурился:

— Да, спиртное и пожарные машины — вот оно к нему и вернулось, золотое детство! Не знаю, не знаю, сам ничего не понимаю. Когда мы с ним приезжали в Розуотер, я ему внушал, что это — его родной дом. Но никогда я не думал, что он сдуру этому поверит. Нет, все-таки я себя виню, — сказал сенатор.

— Прекрасно, — сказал мистер Мак-Алистер. — Но если уж вы так решили, возьмите на себя ответственность и за все то, что случилось с Элиотом во время второй мировой войны. Несомненно, вы виноваты в том, что те немецкие пожарники тогда застряли в дыму горящего дома.

Мак-Алистер говорил о том случае в конце войны, который, по-видимому, и вызвал тогда нервный срыв у Элиота. Речь шла о горевшей музыкальной мастерской в Баварии. Предполагали, что там, в густом дыму, засел отряд вооруженных

эсэсовцев.

Элиот вел один из взводов своей роты на штурм горящего дома. Обычно он был вооружен автоматом Томпсона, но тут взял винтовку с примкнутым штыком, потому что стрелять не хотел, боясь в густом дыму попасть в своих. Ни разу за все годы этой кровавой бойни он не ткнул штыком в живое тело.

Он швырнул в окно гранату. Раздался взрыв, и капитан Розуотер первым вскочил в окошко. Он очутился в густом облаке дыма, оседавшего у самых глаз. Он задрал голову, чтобы дым не лез в нос; он слышал голоса немцев, но разглядеть никого не мог.

Он шагнул вперед, споткнулся о чье-то тело, упал на другое. Эти немцы были убиты его гранатой. Элиот вскочил — перед ним стоял немец в каске и противогазе.

Элиот был хорошим солдатом: он сразу двинул врага коленом в пах, вонзил ему в горло штык и, выдернув его, разбил немцу челюсть прикладом.

И вдруг Элиот услыхал откуда-то рев американского сержанта. Там, как видно, дым рассеялся и сержант орал во всю глотку:

— Стой! Осади назад! Не стрелять, мать вашу так! Тут нет солдат, тут одни пожарные!

Так и оказалось. Элиот убил трех безоружных людей, трех простых деревенских жителей, честно занятых благородным и безусловно нужным делом: они старались спасти постройку от соединения с кислородом.

А когда санитары сняли противогазы с тех троих, кого убил Элиот, оказалось, что это — два старика и мальчишка. Именно мальчишку Элиот убил штыком. С виду ему было лет четырнадцать.

Минут десять Элиот вел себя нормально. И вдруг… И вдруг он вышел на дорогу и спокойно лег прямо под мчащийся на него грузовик.

Грузовик еле успел затормозить — передние колеса чуть не задели капитана Розуотера. Солдаты в ужасе бросились поднимать своего капитана. Оказалось, что все его тело так свело судорогой, что оно все одеревенело — можно было бы поднять его за волосы и за пятки.

Двенадцать часов он не приходил в себя, не двигался, не пил, не ел. Пришлось отправить его в «город-светоч» Париж.

— А в Париже, каким он был в Париже? — допытывался сенатор у Сильвии. — Вам-то он показался вполне нормальным?

— Да, потому я с ним и захотела познакомить-

ся.

— Не понимаю.

— Мой отец выступал со своим струнным квартетом в американском военном госпитале, в отделении для душевнобольных. И там он разговорился с Элиотом, и тот ему показался самым разумным и нормальным из всех американцев, каких он до этого встречал. Когда Элиот стал выздоравливать и выписался, отец позвал его к нам, на обед. Помню, как отец представил его нам: «Вот, познакомьтесь: это пока что единственный американец, который *прочувствовал*, что такое вторая мировая война».

— А о чем же он говорил так разумно?

— Дело не в словах, не в том, что он говорил, а в том, какое он производил впечатление. Помню, как отец о нем рассказывал: «Этот молодой капитан, который к нам придет обедать, — он презирает искусство. Можете себе представить, *презирает*, — но так мне все объяснил, что я не мог его не полюбить. Как я понял, он считает, что искусство предало его, — и должен признаться, что человек, заколовший штыком четырнадцатилетнего мальчишку, так сказать, по долгу службы, имеет полное право так думать».

— И я его полюбила с первого взгляда.

— Ты не можешь найти другое слово?

— Вместо чего?

— Вместо слова *«любовь»*.

— А разве есть слово прекраснее?

— Нет, конечно, слово то было очень хорошее, пока Элиот не стал им злоупотреблять. Для меня оно испорчено вконец. Элиот сделал со словом «любовь» то, что некоторые делают со словом «демократия». Раз Элиот собирается «любить» всех на свете, кого попало, значит, нам, тем, кто любит совершенно определенных людей по совершенно определенным причинам, надо искать новое слово.

Сенатор взглянул на большой портрет своей покойной жены:

— Например, я любил ее гораздо больше, чем, скажем, негра-мусорщика, вот и выходит, что я, по нынешним понятиям, повинен в одном из самых тяжких грехов — в *дискриминации*.

Сильвия устало улыбнулась:

— Раз нет лучшего слова, можно мне говорить по-прежнему, хотя бы сейчас, сегодня?

— В твоих устах это слово еще имеет смысл.

— Я полюбила Элиота с первого взгляда, и стоит мне о нем подумать — знаю, что люблю.

— Но ты, наверное, очень скоро сообразила, что

у тебя на руках человек со странностями.

— Да, он стал пить.

— Вот тут-то и корень зла, именно тут.

— А потом разыгралась эта ужасная история с Артуром Гарвеем Ульмом.

Ульмом звали того поэта, которому Элиот выдал десять тысяч долларов, когда Фонд еще находился в Нью-Йорке.

— Этот несчастный Артур сказал Элиоту, что хочет быть свободным и писать правду, не считаясь ни с какими экономическими трудностями, и Элиот тут же выдал ему огромный чек Это было на одном приеме, на коктейле, — продолжала Сильвия. — Помню, там был Роберт Фрост, и Сальвадор Дали, и Артур Годфри, словом, много знаменитостей. «Валяйте, черт подери! Расскажите всем правду! — говорит Элиот. — Ей-богу, давно пора. А если вам понадобится побольше денег, чтобы написать побольше правды, приходите опять ко мне». И этот несчастный Артур совершенно ошалел, стал ходить между гостями, всем показывал чек, спрашивал, неужели он настоящий? Все ему говорят — да, чек замечательный, огромный. Он опять подошел к Элиоту, просил подтвердить, что это не розыгрыш, не шутка. И тут он почти что в истерике стал умолять Элиота: «Подскажите

мне, что писать?» — «Правду», — говорит Элиот. А тот упрашивает: вы, говорит, мой покровитель, я подумал, что вы, именно как мой покровитель, мне… ну… подскажете…

«Вовсе я не ваш покровитель, — говорит Элиот. — Я такой же американец, как вы, который дал вам денег, чтобы вы нам рассказали правду, как она есть. А это совсем другое дело». — «Понимаю, понимаю… Так оно и должно быть. Этого я и хочу. Но просто я подумал — может быть, есть какая-то определенная тема, может, и вы хотели бы…» — «А вы сами выберите тему и смело возьмитесь за нее», — «Слушаюсь!» — И вдруг бедный Артур, сам не понимая, что он делает, вытянулся и отдал честь, хотя, по-моему, он никогда в жизни нигде не служил: ни в армии, ни во флоте. Отошел он от Элиота и опять стал приставать к нашим гостям, все выяснял, чем Элиот особенно интересуется. Потом опять подходит к Элиоту и говорит, что сам он когда-то бродил с фермы на ферму, собирал фрукты. И вот теперь он решил написать цикл поэм о том, до чего эти сборщики фруктов скверно живут.

И тут Элиот выпрямился во весь рост, глаза у него засверкали, он посмотрел на Артура сверху вниз и сказал громко, чтобы все гости слышали:

«Сэр! Отдаете ли вы себе отчет, что Розуотеры являются не только основателями, но и главными пайщиками акционерного общества „Юнайтед фрут компани“?»

— Ничего подобного, — сказал сенатор.

— Ну конечно, — сказала Сильвия.

— Разве у Фонда Розуотера есть сейчас какие-нибудь акции в этой компании? — спросил сенатор Мак-Алистера.

— Да что-то около тысячи штук, — сказал Мак-Алистер.

— Совершенная ерунда.

— Конечно, — согласился Мак-Алистер.

— Бедный Артур покраснел как рак, куда-то поплелся, потом вернулся и очень робко спросил Элиота, кто его любимый поэт. «Имени его я не знаю, — сказал Элиот, — а жаль: потому что его стихи я запомнил наизусть, а я вообще стихов не запоминаю». — «А где вы их прочитали?» — «На стенке, мистер Ульм, на стене мужской уборной в пивном баре при гостинице „Лесная обитель“ между округами Розуотер и Браун, в штате Индиана».

— Очень странно, — сказал сенатор, — удивительно странно. Ведь гостиница «Лесная обитель» давным-давно сгорела, да, сгорела, должно быть, в

году 1934, что ли. Странно, что Элиот ее помнил.

— А он там бывал? — спросил Мак-Алистер.

— Один раз, один-единственный, насколько я помню, — сказал сенатор. — Ужасная дыра, воровской притон. Мы бы никогда там не остановились, если бы у нас в машине не заглох мотор. Элиоту было лет десять — двенадцать. Наверное, он воспользовался уборной, наверное, прочел там что-то на стенке и навсегда запомнил.

Сенатор покачал головой:

— Странно, очень странно.

— А какие это были стихи? — спросил Мак-Алистер.

Сильвия заранее извинилась перед обоими стариками — стихи были не совсем приличные — и прочла то, что громко на весь зал, Элиот когда-то продекламировал несчастному Ульму:

Не мочились никогда мы
В пепельницы ваши,
Не бросайте же окурков
В писсуары наши!

— Бедный поэт заплакал и убежал, — продолжала Сильвия, — а я несколько месяцев подряд со страхом распечатывала все бандероли, боялась, что вдруг там окажется отрезанное ухо Артура

Гарвея Ульма!

— Значит, ненавидит искусство, — сказал Мак-Алистер. Он тихонько посмеивался.

— Но ведь Элиот — сам поэт, — сказала Сильвия.

— Первый раз слышу, — сказал сенатор. — Никогда никаких его стихов не читал.

— А мне он часто писал стихи, — сказала Сильвия.

— Наверное, он больше всего любит писать на стенках общественных уборных. Я часто думал — да кто же это пишет? Теперь знаю кто: мой сын-поэт.

— А он *действительно* пишет на стенах в уборных? — спросил Мак-Алистер.

— Да, говорят, что пишет, — сказала Сильвия. — Но пишет он самые невинные вещи, ничего неприличного. Когда мы жили в Нью-Йорке, мне многие говорили, что Элиот постоянно пишет в уборных одну и ту же сентенцию.

— А вы помните, что именно?

— Да. *«Если тебя разлюбят или забудут, держись стойко!»*

— Насколько я понимаю, это — его собственное творчество.

А в это время Элиот пытался усыпить себя, читая рукопись романа, написанного именно тем самым Артуром Гарвеем Ульмом.

Роман назывался: *«Мандрагоре дай дитя»*. Это была цитата из стихотворения Джона Донна. На титуле стояло посвящение: «Сострадательной моей Бирюзе — Элиоту Розуотеру». И под этим посвящением — снова цитата из Джона Донна:

Как бирюза нам сострадать умеет:
Хозяин страждет – и она бледнеет.

К рукописи было приложено письмо, где Ульм сообщал, что книга выйдет в издательстве «Палиндромпресс» перед самым рождеством и вместе с книгой *«Колыбель эротики»* будет выставлена на соискание премии одного из самых крупных литературных клубов.

> «Вы, наверное, забыли меня, Сострадательная Бирюза, – писал он дальше. – Тот Артур Гарвей Ульм, которого вы знали, заслуживает забвения. Какой он был трус, какой дурак, воображавший, что он – поэт. Как долго-долго он не мог понять до конца – сколько доброты, сколько благородства крылось в вашей жестокости!

Как много вы умудрились рассказать мне о моих недостатках, о том, как мне от них избавиться, – и как мало слов вам для этого понадобилось! И вот теперь (четырнадцать лет спустя) перед вами восемьсот страниц моей прозы. Без вас они никогда не были бы созданы, – я вовсе не хочу сказать „без ваших денег“. Деньги – дерьмо, и об этом я тоже пытался рассказать в моей книге. Нет, я говорю о том, как вы настаивали, что надо рассказать правду о нашем больном, тяжело больном обществе, и что слова для такого рассказа можно найти даже на стенах общественных уборных».

Элиот совершенно забыл, кто такой Артур Гарвей Ульм, и тем труднее ему было вспомнить, какие наставления он давал этому человеку. Сам Ульм писал об этом настолько туманно, что догадаться было невозможно. Но Элиот был очень доволен, что дал кому-то полезный совет, и даже приятно удивился, читая декларацию Ульма:

«Пусть меня расстреляют, пусть повесят, но я выложил им всю правду. Пусть скрежещут зубами фарисеи, извращенцы с Мэдисон-авеню и всяческие ханжи –

этот скрежет мне слаще музыки. С вашей вдохновенной помощью я выпустил из бутылки Джинна – всю правду о них, и теперь никогда, никогда не загнать эту правду в бутылку!»

Тут Элиот стал жадно листать рукопись: интересно, какую такую правду открыл Ульм, за что его захотят убить?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я выкручивал ей руку, пока она не разжала колени, вскрикнув то ли от боли, то ли от восторга (разве поймешь женщину?), когда мой Великий Мститель проник в свои владения…»

Элиот вдруг почувствовал неуместное возбуждение.

— Фу ты, пропасть! — сказал он своему продолжателю рода человеческого. — До чего у тебя все некстати!

— Да, был бы у вас ребенок! — повторил сенатор. Но вместе с глубоким сожалением в нем вдруг проснулось раскаяние: как жестоко, подумал он, говорить о нерожденном ребенке с той самой женщиной, которой не дано было произве-

сти на свет это чудо-дитя.

— Прости старого дурака, Сильвия. Понимаю, что ты иногда благодаришь Создателя, что у вас нет детей.

Сильвия, выплакавшись как следует в ванной, теперь как-то неопределенно развела руками, словно пытаясь показать, что она, конечно, была бы рада ребенку, но и жалела бы его.

— Но благодарить Создателя, что его нет, я никогда не стану, — добавила она.

— Можно мне задать один сугубо личный вопрос?

— Жизнь все время задает нам такие вопросы.

— Как по-твоему, есть ли хоть малейшая надежда, что у Элиота *еще могут* быть дети?

— Но я не видела его три года.

— Но я прошу тебя, так сказать, экстраполировать такую возможность.

— Одно могу добавить, — сказала Сильвия. — Чем дольше мы жили вместе, тем больше любовь для нас обоих превращалась в какое-то безумие. Он был одержим этой любовью, но иметь своих детей он никогда не хотел.

— Да, если бы только я уделял больше внимания мальчику, — огорченно сказал сенатор, пожевав губами. Он поморщился. — Заходил я к

этому психоаналитику, у которого Элиот лечился тогда, в Нью-Йорке, только в прошлом году собрался наконец к нему пойти. Вообще выходит так, будто до всего, что касается Элиота, я дохожу с опозданием лет на двадцать. Дело в том, что я… что мне… мне казалось немыслимым, что такой великолепный экземпляр когда-нибудь может дойти черт знает до чего.

Мушари старался скрыть, с какой жадностью он дожидается клинических подробностей болезни Элиота, и весь напрягся, надеясь, что сейчас кто-то попросит сенатора продолжать рассказ. Но все молчали. И Мушари выдал себя:

— Так что же сказал вам доктор?

И сенатор, ничего не подозревая, стал рассказывать дальше:

— Эти доктора никогда не хотят говорить о том, о чем их спрашиваешь. Всегда сводят на другое. Как только он узнал, кто я такой, он не захотел говорить об Элиоте. Он хотел говорить только о «Законе Розуотера».

Сам сенатор считал «Закон Розуотера» лучшим своим произведением. По этому закону, всякое распространение и хранение непристойных материалов объявлялось государственным преступлением, наказуемым либо штрафом до

пятидесяти тысяч долларов, либо тюремным заключением на десять лет, без права выдачи на поруки. Текст закона был настоящим произведением искусства, так как в нем было дано точное определение, что такое «непристойность».

«Непристойность, — говорилось в законе, — есть любая картина, патефонная пластинка или письменное произведение, привлекающее внимание к детородным органам, человеческим выделениям или к волосяному покрову тела».

— Этот психоаналитик все допытывался, какое у меня было детство, — пожаловался сенатор. — Он все хотел узнать, как я отношусь к волосяному покрову тела. — Сенатор передернулся. — Я вежливо попросил его не касаться этой темы, потому что, насколько я знаю, все порядочные люди питают к ней такое же отвращение, как и я. — Сенатор ткнул пальцем в Мак-Алистера, ему просто надо было к кому-то обратиться: — Вот вам ключ к порнографии. Мне многие говорят: «Но как же вы сумеете отличить порнографию от искусства? Как вы найдете правильный критерий?» Ну и все такое. А я зафиксировал этот критерий в моем законе: «Разница между порнографией и искусством состоит в отношении к волосяному

покрову тела».

Тут сенатор покраснел, растерянно извинился перед Сильвией:

— Прошу прощения, моя дорогая.

Мушари снова попытался вызвать его на разговор:

— Значит, доктор *ничего* так и не сказал про Элиота?

— Этот чертов доктор сказал, что Элиот ни черта ему не рассказывал, кроме всем известных исторических фактов, главным образом касающихся того, как притесняли бедняков и людей чудаковатых. Он заявил, что ставить диагноз болезни Элиота значило бы безответственно заниматься пустыми домыслами. Но ведь я — отец, и меня глубоко беспокоит здоровье сына. «Прошу вас, — говорю я доктору, — высказывайте любые догадки насчет моего сына, я снимаю с вас всякую ответственность. Я вам буду весьма благодарен за все, что вы мне расскажете о нем, все равно, верно это или нет, потому что сам я уже много лет его совершенно не понимаю — не знаю, хорошо это или плохо, ответственно или безответственно. Так что вы сами, доктор, поковыряйтесь вашей нержавеющей ложечкой в мозгу у меня, старика». А он говорит: «Но, прежде чем вдаваться во всякие

домыслы, ответственные или безответственные, мне придется коснуться всяких сексуальных отклонений. Но так как это затронет и Элиота, что, разумеется, может вас очень огорчить, не лучше ли нам вообще закрыть эту тему?» — «Нет, говорю, валяйте, я ведь сам старый греховодник, а говорят, что старого греховодника ничем не смутишь, при нем стесняться нечего. Правда, я сам раньше так не считал, но давайте попробуем!» — «Хорошо», — говорит он. — Предположим, что молодой, здоровый мужчина должен в норме испытывать сексуальное влечение к привлекательной для него женщине. Разумеется, не к матери, не к сестре; но если он испытывает такое влечение к другим объектам, например к мужчине, или возбуждается при виде зонтика, или страусового боа императрицы Жозефины, или при виде овцы, или покойника, украденных им женских подвязок, или сексуально воспринимает свою мать, — мы его считаем сексуальным психопатом, *человеком извращенным*.

Я ответил, что я, конечно, всегда знал о существовании таких ненормальных, но никогда о них особенно не думал, потому что про них особенно и думать нечего.

«Отлично, — сказал доктор, — у вас спокойное,

разумное отношение, сенатор Розуотер, хотя, откровенно говоря, я несколько удивлен. Давайте же сразу установим, что любой случай сексуального извращения есть результат нарушенных и перепутанных контактов в мозгу. Мать-природа и наше общество установили закон, по которому человек должен направлять свое сексуальное влечение на определенный предмет и удовлетворять это влечение именно там и именно так, как положено. Несчастный больной человек, с перепутанными в мозгу контактами, противоестественно возбуждается не тем, чем надо, и с пылом, с полной отдачей совершает какой-нибудь нелепый, чудовищный проступок, и хорошо, если его просто изобьют до полусмерти полисмены, а не растерзает разъяренная толпа».

— Впервые за много лет меня охватил ужас, — продолжал сенатор, — и я так и сказал этому доктору.

«Отлично, — сказал он опять. — Для врача нет более полного удовлетворения, чем довести несведущего человека до полного ужаса, а потом вернуть ему спокойствие. Конечно, у Элиота контакты в мозгу нарушены и перепутаны, но те несоответственные поступки, на которые он, из-за короткого замыкания, переключил свою

сексуальную энергию, не так уж предосудительны». — «На что же он *переключился* — спрашиваю, а сам помимо воли думаю, неужели Элиот крадет дамские панталоны или в метро отхватывает ножницами прядь волос у девочек? — Говорите, доктор, скажите мне всю правду, — на что Элиот переключил свое сексуальное влечение?» — «На Утопию», — говорит.

Мушари так расстроился, что от огорчения громко чихнул.

Глава 7

У Элиота все больше тяжелели веки, но он пытался дочитать роман *«Мандрагоре дай дитя»*. Хотелось найти те места, от которых ханжи скрежетали зубами. Он нашел там описание случая с судьей, которого ославили за то, что он ни разу не дал своей жене настоящего удовлетворения, потом прочел рассказ про агента *мыльной* фирмы, который в пьяном виде заперся в своей квартире и нарядился в подвенечное платье своей матери. Элиот поморщился, подумал, что, может быть, такие штучки и сгодятся, чтобы дразнить фарисеев, но тут же решил — вряд ли…

Дальше он прочитал, как невеста этого самого агента по рекламе мыла соблазняла папашиного шофера. Первым делом она игриво откусила пуговицу с его форменной куртки. На этом месте Элиот заснул крепчайшим сном.

Телефон прозвонил три раза.

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Вы меня не знаете, мистер Розуотер, — сказал раздраженный мужской голос.

— А кто вам сказал, что это имеет значение?

— Я ничтожество, мистер Розуотер, я хуже всякого ничтожества.

— Видно, Создатель тут допустил ошибку?

— Да. Зря он меня создал, ошибся.

— Вы правильно выбрали, кому пожаловаться.

— Что это у вас за учреждение?

— А как вы про нас узнали?

— Увидал в телефонной будке наклейку — такая черная с желтым. А там написано: «САМОУБИЙЦА, НЕ ТОРОПИСЬ ПОКОНЧИТЬ С ЖИЗНЬЮ. ПОЗВОНИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИВАТЬ СЕБЯ, В ФОНД РОЗУОТЕРА!» — и ваш номер телефона.

Такие наклейки были налеплены почти на всех задних стеклах легковых машин, на кузовах грузовиков добровольной пожарной бригады.

— А знаете, что написано там, в телефонной будке, карандашом?

— Нет.

– *«Элиот Розуотер святой. Тебя любит он и денег даст. Но если захочешь чего покрепче, позабористей, звони Мелиссе — лучшей штучки во всем штате нет»* — и ее телефон.

— Вы в наших краях чужой?

— Я во всех краях чужой. А у вас тут что? Секта какая-то? Новая религия?

— Я лично вдвойне умудренный баптист-де-

терминист.

— Что, что?

— Я так отвечаю, когда кто-нибудь настаивает, что я, вероятно, проповедую какую-нибудь религи. А такая секта и вправду существует, и, вероятно, люди они хорошие. У них принято омывать друг другу ноги, и денег их пастыри ни от кого не берут. А я тоже ноги себе мою, а денег ни у кого не беру.

— Не понимаю я вас, — сказал голос.

— Да я шучу, чтобы вы не дичились меня, не подумали, что со мной надо говорить только всерьез. Кстати, вы сами случайно не из этих баптистов-детерминистов?

— Упаси бог, что вы!

— А ведь их сотни две, не меньше, и вполне возможно, что когда-нибудь я скажу одному из них то, что я вам сейчас наболтал. — Элиот отпил глоток виски. — Очень я этого боюсь и знаю, что так и будет.

— Что-то голос у вас нетрезвый. Слышал, как вы чего-то хлебнули.

— Пусть будет так. Но все же, чем я могу вам помочь?

— Да *кто вы такой*, черт вас побери?

— Правительство.

— Что, что?

— Если я не служитель церкви и все же стараюсь удержать людей от самоубийства, значит, я, очевидно, представитель правительства. Логично?

Голос что-то пробормотал.

— Или же Общая жилетка — плачь в нее, кто хочет.

— Вы, кажется, сострили?

— Я-то знаю, сострил я или нет, а вы сами догадайтесь.

— Может, по-вашему, остроумно и наклейки писать насчет тех, кто решился покончить с собой?

— А вы *тоже* решились?

— Ну и что?

— Не стану вам приводить два неоспоримых довода, почему стоит жить, не стану рассказывать, как я это открыл.

— А что же вы станете говорить?

— Прошу вас назвать какую-нибудь очень скромную сумму, за которую вы согласились бы прожить еще неделю.

Голос молчал.

— Вы меня слышите? — спросил Элиот.

— Слышу.

— Но может быть, вы и не собираетесь покончить с собой? Тогда, пожалуйста, повесьте трубку — телефон может понадобиться и другим людям.

— Мне кажется, вы сумасшедший.

— Но покончить с собой собираетесь вы, а не я.

— А что, если я вам скажу, что и за миллион не соглашусь прожить еще неделю?

— Я вам отвечу: — Ну и помирайте! Попробуйте попросить тысячу.

— Ладно, за тысячу.

— Ну и помирайте! Спустите до сотни.

— Давайте сотню.

— Вот теперь договорились. Зайдите к нам в контору. — Элиот назвал свой адрес. — Собак у пожарной части не бойтесь, — добавил он, — они кусаются, только когда завоет сирена.

Кстати, про эту сирену. Насколько Элиоту было известно, во всем Западном полушарии не было сигнала тревоги громче нее. Она приводилась в действие мессершмиттовским мотором в семьсот лошадиных сил, с электрическим генератором в тридцать лошадиных сил. Во время второй мировой войны эта сирена была главным сигналом тревоги в Берлине. Фонд Розуотера перекупил ее у правительства ФРГ и послал в дар пожарной бригаде от Неизвестного. Когда сирену доставили

в город, на грузовике при ней была только короткая записочка: «Привет от Друга».

Все записи Элиот вел в тяжелой конторской книге, обычно лежавшей у него под кроватью. Переплет на ней был из черной тисненой кожи, бумага зеленоватая, чтобы глаза не уставали, и все триста страниц разграфлены. Элиот назвал эту книгу *«книга судного дня»*. С самого первого дня деятельности Фонда в округе Розуотер Элиот вносил сюда имена каждого своего клиента, все его жалобы и что для него сделал Фонд Розуотера.

Весь том был уже почти заполнен, но только Элиот или покинувшая его жена могли разобраться в этих записях.

Сейчас Элиот записывал данные того самого потенциального самоубийцы, который явился к нему после телефонного разговора и только что ушел в довольно мрачном настроении, словно он хотя и подозревает, что его не то надули, не то осмеяли, но как и почему, понять не может.

«Шерман Лесли Литтл», — записывал Элиот. «ИНД. СКЛ СМБ РАБ МЕТ БЗРБ ЖЕН ЗДЕЙ СР ЭПЛ ВД ФР 300» — это означало, что Литтл родом из Индианаполиса, рабочий-металлист, ветеран второй мировой войны, сейчас безработный, трое

детей, средний — эпилептик и что ему выдано из Фонда 300 долларов.

Но чаще вместо денежной ссуды в книге «Отчета» был записан лаконичный рецепт: АВ. Элиот прописывал это средство людям, которые по любой причине, а чаще и вовсе безо всякой причины, впадали в уныние, «Знаете, что я вам посоветую, мой друг: примите таблетку аспирина и запейте водичкой».

ОНМ — означало: «охота на мух». Дело в том, что у многих людей возникала неодолимая потребность сделать для Элиота что-нибудь приятное. Тогда он их просил собраться в определенное время и устроить у него в конторе охоту на мух. Во время самого мушиного сезона такая работа была потруднее чистки авгиевых конюшен, потому что сеток от мух Элиот на окна не вешал, а кроме того, его контора была непосредственно связана с грязнейшей кухней при закусочной в нижнем этаже, откуда через отдушину в полу шел смрадный и сальный чад.

Эта мушиная охота стала настоящим обрядом, и обрядом настолько разработанным, что обычные хлопушки для мух в нем не употреблялись. Мужчины работали по своей системе, Женщины — по своей. Орудием мужчин были резиновые

ленты, орудием женщин — стаканчики теплой воды с мыльной пеной.

Техника работы с резиновой лентой заключалась в следующем. На ленте делалась прорезь посреди полоски. Лента натягивалась обеими руками, и охотник смотрел в прорезь, как в прицел винтовки, высматривая зазевавшуюся муху, и щелкал лентой, когда муха оказывалась под прорезью в поле зрения. При удачном щелчке муха превращалась в пыль, чем и объяснялся странноватый цвет стенок и деревянных вещей в конторе Элиота, почти сплошь покрытых высохшим пюре из мух.

Техника работы с водой и мыльной пеной заключалась в следующем. Охотница высматривала муху, сидящую на стенке вниз головой. Она осторожно подставляла стаканчик с мыльной пеной под муху, пользуясь тем широко известным в науке фактом, что висящая вниз головой муха, почуяв опасность, срывается в свободном падении вниз дюйма на два прежде, чем раскрыть крылышки. В идеале муха не почует опасность, прежде чем стаканчик не окажется прямо под ней. И тут она послушно падает в мыльную пену, где и тонет после недолгой борьбы.

Про этот способ Элиот говорил: «Ни одна жен-

щина в него не верит, пока сама не испробует. Но стоит ей убедиться, что дело идет, она иначе и работать не станет».

В конце книги был записан совершенно черновой набросок романа — Элиот начал его писать несколько лет тому назад, когда впервые понял, что Сильвия больше никогда к нему не вернется:

> Отчего души умерших так часто добровольно возвращаются на Землю, где они страдали и умирали, страдали и умирали, страдали и умирали? Потому что Небеса – Ничто. И над «энтими райскими вратами» надо бы «выпуклить» золочеными буквами:
>
> «ВСЯКОЙ МАЛОСТИ, ГОСПОДИ, ДОЛГО-ДОЛГО ПРЕБЫВАТЬ СУЖДЕНО».
>
> Но райские врата, коим конца-краю не видать, нераскаявшиеся грешники, окаянные души, сплошь исчиркали заборными надписями:
>
> «Добро пожаловать на Всемирную Ярмарку Народного Искусства Болгарии!» – гласит карандашная надпись. А под ней: «Лучше быть красным, чем трупом несчастным», – философствует некий

писака.

«Ты не настоящий мужчина, пока не попробовал черного мясца!» – советует кто-то. А другой поправляет: «Ты не настоящий мужчина, если ты сам – не из черного мясца!»

«Кого бы мне тут употребить?» – и ему отвечают: «Смотри „Употребление теоремы профессора Эванса“».

А вот и мой вклад:

Тот, кто пишет на стене,
Пусть копается в г..не,
Кто читает – в основном,
Пусть питается г..ном.

«Кубла-Хан, Наполеон, Юлий Цезарь и Ричард Львиное Сердце – просто вонючки!» – заявлял какой-то храбрец. Никто его не опровергал. Да и от самих этих оскорбленных ждать опровержений не стоило. Бессмертная душа Кубла-Хана ныне обитала в убогом теле жены ветеринара из города Лима, в Перу. Бессмертная душа Бонапарта глядела на свет божий из распаренного потного тела

четырнадцатилетнего парнишки, сына надсмотрщика гавани в Котьюте, штат Массачусетс. Душа великого Цезаря кое-как прижилась в сифилитическом теле вдовой карлицы с Андаманских островов, а Ричард Львиное Сердце снова попал в плен, после неоднократного переселения душ, и сейчас живет во плоти Коуча Летцингера, жалкого экзгибициониста и любителя рыться в помойках города Розуотера, штат Индиана. Раза три-четыре в год Коуч, с запрятанной в него душой бедного старого Ричарда Львиное Сердце, отправляется на автобусе в Индианаполис, надев для такого случая лишь носки с башмаками, подвязки и длинный макинтош и повесив на шею посеребренный свисток… Приехав в Индианаполис, Коуч идет в ювелирный отдел одного из больших универмагов, где всегда полно невест, выбирающих столовое серебро для будущего хозяйства. Коуч свистит в свой свисток, девушки оглядываются. Коуч распахивает макинтош, сразу запахивает его и бежит со всех ног – ловить обратный автобус в Розуотер.

Скучно на небесах до одури, – писал Элиот дальше в своем романе, – и поэтому большинство усопших становится в очередь на переселение душ, и снова рождаются, снова живут и любят, страдают и умирают, и снова становятся в очередь для нового перевоплощения в темную оболочку. Они ничего не выклянчивают, не выпрашивают для себя: ни расы, ни пола, ни национальности, ни класса. Одного они хотят, одно им и дается – снова прожить в трех измерениях определенный, весьма скудный отрезок времени в оболочке, отделяющей внутренний мир от внешнего.

А в небесах ни внутреннего, ни внешнего мира нет. Путь за Вратами Рая ведет из Никуда в Никуда, из Повсюду в Повсюду. Представьте себе бильярдный стол длиннее и шире Млечного Пути. Не забудьте одну деталь: у этого «стола» безукоризненно гладкая поверхность, на которую наклеено зеленое сукно. Представьте себе Врата в самом центре стола. И каждый, у кого хватит воображения, сразу уразумеет, что такое рай, и посочувствует душам,

которые жаждут снова ощутить разницу между миром внутренним и внешним.

Но как ни тягостен загробный мир, есть среди нас души, не желающие нового воплощения. И я из их числа. Я не возвращался на землю с 1587 года н. э., когда в теле некой Вальпурги Хаусманн меня казнили в австрийском поселке Диллинген. Моему тогдашнему телу было предъявлено обвинение в колдовстве. Услышав это обвинение, душа моя, разумеется, возжелала покинуть мою плоть, в коей она, кстати, обитала уже более восьмидесяти пяти лет. Однако моей душе пришлось остаться в этом несчастном старом теле, когда его привязали к колоде, бросили в тележку и отвезли в ратушу. Там мне разорвали левое плечо и левую грудь раскаленными щипцами. Затем мы проехали через нижние ворота, где мне разорвали правое плечо. Затем меня повезли к дверям больницы, где разорвали правую грудь. И наконец меня вывезли на сельскую площадь. Ввиду того, что я шестьдесят два года была ученой и законно практикующей повитухой, а вела себя

так гнусно, мне отрезали правую руку. А потом привязали меня к позорному столбу, сожгли на костре и развеяли мой прах над ближней рекой. С тех пор я на землю не возвращалась.

Обычно те души, чью несчастную плоть здесь так жестоко и медленно пытали и мучили, не хотели возвращаться на нашу добрую, старую землю – этот факт явно говорил в пользу защитников смертной казни, телесных наказаний и жестокой борьбы с преступностью. Но в последнее время начались какие-то странные явления: нашего полку прибыло, многие ни за что не хотят возвращаться, даже те, которые, по нашим стандартам, практически никаких особенных, чудовищных мучений на земле не испытали. Может, ногу ушибли или что-то вроде того. Но они прибывают к нам на небо целыми батальонами, оглушенные, как после контузии, и воют в голос: «Ни за что! Никогда!»

«Что это за люди? – спрашиваю я себя. – Что там с ними стряслось такое невообразимо страшное?» И тут я пони-

маю, что ответ на мой вопрос я смогу получить, только ожив снова. Придется мне заново родиться.

Только что мне сообщили, меня переселят туда же, где, во плоти, обитает душа Ричарда Львиное Сердце, а именно в округ Розуотер, штат Индиана.

Зазвонил черный телефон Элиота.

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Мистер Розуотер, — сказал дрожащий женский голос, — говорит Стелла Вэйкби. — Голос умолк в ожидании ответа.

— А-а, здравствуйте, — ласково сказал Элиот. — Как мило, что вы позвонили! Рад вас слышать! — Он понятия не имел, кто такая эта Стелла.

— Мистер Розуотер, вы сами знаете, что я... я никогда ни о чем вас не просила.

— Знаю, конечно, знаю.

— У других людей бед меньше, а беспокоят они вас куда чаще.

— Я это за беспокойство не считаю. Правда, одни чаще обращаются, другие реже.

С Дианой Луун Ламперс Элиот так часто возился, что перестал отмечать в книге, когда и чем он ей помог. Сейчас он наугад добавил:

— А я часто думал, какое тяжкое бремя вам

выпало на долю, очень тяжко…

— Ох, мистер Розуотер, если бы вы только знали… — Она громко зарыдала: — Ведь мы всегда говорили — мы за *сенатора* Розуотера, а вовсе не за этого *Элиота*. Мы всегда жили самостоятельно, чего бы это ни стоило. Сколько раз, бывало, прохожу на улице мимо вас и нарочно отворачиваюсь. И вовсе не потому, что я против вас, просто хотелось показать, что мы, Вэйкби, ни в чем не *нуждаемся*.

— Я так и понимал. И очень за вас радовался. Элиот, конечно, не помнил, чтобы какая-то женщина от него отворачивалась на улице, да и выходил он из дому так редко, что у этой бедной Стеллы вряд ли была возможность проявлять свои чувства по отношению к нему. Он правильно догадывался, что живет она в горькой нужде где-то на окраине, редко показывается на людях в своем отрепье и только воображает, что и она как-то причастна к жизни города, и что все ее знают, вполне возможно, она как-то раз и прошла по улице мимо Элиота, но этот единственный раз превратился в ее воображении в тысячу небывших встреч, и, как игра светотеней, перед ней возникали самые разнообразные драматические ситуации.

— Нынче ночью мне никак не спалось, вот и вышла побродить…

— Видно, вы часто так прогуливаетесь.

— Господи, мистер Розуотер, я и в полнолуние брожу, и когда месяц молодой, да и темной ночью расхаживаю.

— А сегодня еще и дождь идет.

— Дождь люблю.

— И я тоже.

— Нынче вышла, смотрю — у соседей свет горит.

— Слава богу, что соседи близко.

— Постучала я к ним, они меня впустили. И я им говорю: «Мне помочь надо, мне без помощи никак нельзя, не знаю, куда мне деваться, так дальше жить нельзя, да и неохота мне жить, если сейчас меня не выручат. Не могу я больше стоять за сенатора Розуотера, больше мне невмоготу…»

— Полно, полно, не плачьте!

— Вот они и посадили меня в машину, повезли к телефонной будке и говорят: «Ты позвони Элиоту, он тебе поможет». Вот я и *позвонила.*

— Хотите сейчас ко мне зайти, голубушка, или подождем до завтра?

— До завтра… — неуверенно повторил голос.

— Вот и чудесно. В любое удобное для вас время,

дорогая моя.

— Значит, до завтра.

— До завтра, голубушка. И день, наверное, будет славный.

— Слава *Богу*!

— Что вы, что вы!

— Ох, мистер Розуотер, спасибо Господу, что *вы живете* на свете!

Элиот повесил трубку. Тут раздался телефонный звонок.

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Во-первых, пойди к парикмахеру. Во-вторых, купи себе новый костюм.

— Что, что?

— Элиот!

— Я.

— Ты даже не узнал мой голос.

— Я… я… виноват…

— Да это же твой *отец*, черт побери!

– *Отец*? Неужели ты? — Голос Элиота был полон любви, нежности, изумления. — До чего же я рад тебя слышать!

— Но ты меня даже не узнал!

— Прости… Тут мне звонят без конца, сам знаешь.

— Ах, звонят, и даже без конца?

— Ну ты же знаешь…

— Да, к сожалению, знаю.

— Ну, а *ты* как?

— Блестяще! — Голос сенатора был полон сарказма. — Лучше некуда!

— Как я рад за тебя.

Сенатор послал его подальше.

— Что с тобой, отец?

— Не смей со мной разговаривать как с пьяным дураком. Я тебе не сутенер какой-то! Я тебе не идиотка-прачка!

— Но что я такого *сказал*?

— Тон у тебя противный!

— Прости.

— Чувствую, сейчас начнешь советовать: «Примите таблетку аспирина, запейте глотком вина». Не смей со мной разговаривать *свысока*!

— Прости.

— Мне не нужно, чтоб за меня вносили деньги на покупку мотоцикла.

Элиот действительно сделал последний взнос за одного клиента в уплату за мотоцикл. Через два дня клиент разбился насмерть вместе со своей подружкой около Блумингтона.

— Конечно, знаю.

— Конечно, он все знает! — сказал сенатор кому-то в сторону.

— Отец… Голос у тебя такой *сердитый*, такой несчастный. — В голосе Элиота звучала искренняя тревога.

— Пройдет.

— Тебя что-то беспокоит?

— Пустяки, Элиот, мелочи. Мелочи, например, то, что семейство Розуотеров вымирает.

— Почему ты так *решил*?

— Только не говори мне, что ты забеременел.

— Но ведь есть еще наши родственники с Род-Айленда.

— Спасибо, утешил. А я совсем было запамятовал, что они существуют.

— Сколько иронии у тебя в голосе.

— Видно, телефон испорчен. А ты расскажи мне, что там у вас хорошего? Подбодри старого пердуна.

— Мэри Моди родила близнецов.

— Отлично! Отлично! Превосходно! Лишь бы хоть кто-то служил продолжению рода человеческого. Лишь бы хоть у кого-то появлялось потомство. Лишь бы хоть *кто-то* продолжал размножаться. Как же мисс Моди назвала новорожденных, этих маленьких граждан?

— Фокскрофт и Мелоди.

— Элиот…

— Да, сэр?

— Пожалуйста, посмотри хорошенько на самого себя.

Элиот послушно оглядел себя со всех сторон. Насколько можно было видеть себя без зеркала.

— Посмотрел.

— А теперь спроси себя: «Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?»

И Элиот послушно и без всякой иронии громко повторил:

— Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?

— Что же ты ответишь?

— Что это не сон, — сказал Элиот.

— Разве тебе не хочется, чтобы все *оказалось* сном?

— А каким бы я проснулся?

— Таким, каким тебе *следует* быть. Каким ты всегда *был*.

— Хочешь, чтобы я снова стал покупать картины в дар музеям? Ты стал бы мной гордиться, если бы я выдал два с половиной миллиона долларов на покупку картины Рембрандта *«Аристотель*

созерцает бюст Гомера»?

— Зачем доводить наш спор до полного абсурда?

— Это не *моя* вина. Виной те люди, которые отдают такие деньги за такие картины. Я показал репродукцию этой вещи Диане Луун Ламперс, и она сказала: «Может, я темный человек, мистер Розуотер, но я бы такую картинку у себя в комнате ни за что не повесила».

— Слушай, Элиот…

— Да, сэр?

— Ты бы узнал, что о тебе думают в Гарварде.

— А я отлично знаю.

— Вот как?

— Они меня обожают. Посмотрел бы, какие письма мне оттуда пишут.

Сенатор подумал, что зря хотел поддеть Элиота насчет Гарварда и что Элиот действительно говорит правду про письма из этого университета, полные глубочайшего уважения.

— Бог мой, — сказал Элиот. — В конце концов, с самого основания фонда Розуотера я этим людям выдавал по триста тысяч долларов в год, аккуратно, как часы. Ты бы почитал их письма.

— Элиот…

— Да, сэр?

— Сейчас, по странной иронии судьбы, наступает некий исторический момент, когда сенатор Розуотер, представитель штата Индиана, сам задаст собственному сыну вопрос: «Не коммунист ли ты сейчас или не был ли ты когда-либо коммунистом?»

— Бог ты мой. Как сказать, многим, конечно, мои мысли могут показаться близкими к коммунизму, — сказал Элиот простодушно. — Когда общаешься с бедняками, нельзя не столкнуться с тем, о чем писал Маркс, а кстати, и с тем, о чем говорится в Библии. Честное слово, по-моему, сущее безобразие, что у нас в стране люди не хотят делиться всеми благами. И со стороны правительства просто жестоко разрешать одним детям с самого рождения владеть огромной долей национального богатства — я сам тому пример, — а другим ничего не давать и держать в нищете с первых дней жизни. По-моему, государство могло бы, по крайней мере, оделять всех младенцев поровну с самого рождения. Жизнь и так трудная штука, зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег? У нас в стране всего хватит на всех, если только *делиться* между собой по справедливости.

— Что же тогда будет для людей движущей

силой?

— А что, по-твоему, движет ими сейчас? Страх, что есть нечего будет, доктору платить нечем, что ребятам надеть нечего, что нет хорошей, удобной, уютной квартиры, настоящего образования, нет возможности хорошо отдохнуть, развлечься. Или стыд за то, что не знаешь, где Денежный Поток?

— Это еще что такое?

— Там, где деньги текут рекой, откуда потоком льются богатства нашей страны. Мы родились на его берегах, как и многие ничем не примечательные люди. С ними мы росли, с ними ходили в привилегированные частные школы, плавали на яхтах, играли в теннис. Мы могли вволю налакаться из этого Денежного Потока. И даже учились, как бы вылакать побольше.

— Как это «учились лакать»?

— Да брали уроки у адвокатов. Консультировались у специалистов по налогам, у биржевиков. А родились мы настолько близко к этому Потоку, что и мы сами, и поколений десять наших потомков могут хоть захлебнуться в этом богатстве, запросто черпать оттуда деньги ковшами, ведрами, чем угодно. А нам все мало, приглашаем специалистов, а они нас обучают, как пользоваться акведуками, плотинами, затонами,

резервуарами, механическими ковшами, рычагом Архимеда. И к нашим наставникам тоже течет богатство, а их дети тоже платят, чтобы их научили, как вылакать денежек побольше.

— А я и не подозревал, что лакаю деньги.

Но Элиот так увлекся своими обобщениями, что отвечал отцу как-то бесчувственно, мимоходом:

— Оттого, что лакаешь с самого рождения. Такой человек не понимает, когда бедняки про нас говорят: «Вот налакался!», не поймет, если при нем скажут: «Деньги текут рекой». А ведь многие утверждают, что никакого Денежного Потока нет. А я, как их услышу, всегда думаю: «Бог мой, какая наглая ложь, какая безвкусица!»

— Ты меня радуешь — заговорил о хорошем вкусе, — съязвил сенатор.

— Неужели ты хочешь, чтобы я снова слушал оперы? Неужели ты хочешь, чтобы я построил образцовый особняк в образцовом поселке и опять ходил на яхте с утра до вечера?

— Кому какое дело, чего бы я хотел…

— Допустим, что живу я сейчас не в Тадж-Махале. А почему мне жить хорошо, когда другие американцы живут так скверно?

— Может быть, перестань они верить во всякую чепуху, вроде твоего Денежного Потока, да

возьмись как следует за работу, они и жить стали бы не так скверно.

— А если нет Денежного Потока, откуда же ко мне каждый день притекает десять тысяч долларов? Хотя вся моя работа — дремать да почесываться и еще изредка отвечать на телефонные звонки?

— Пока еще у нас в Америке каждый может нажить капитал.

— Конечно, лишь бы еще смолоду кто-то показал ему, откуда деньги льются рекой, разъяснил, что честным путем ничего не добиться, что настоящую работу лучше послать к чертям, забыть, что каждый должен получать по труду и всякую такую ерундистику, и просто подобраться к Денежному Потоку, «Иди туда, где собрались богачи, заправилы, сказал бы я такому юнцу, поучись у них, как обделывать дела. Они падки на лесть, но и запугать их легко. Ты к ним подольстись как следует или пугни их как следует. И вдруг они безлунной ночью приложат палец к губам — тише, мол, не шуми, и поведут тебя во тьме ночной к самому широкому, самому глубокому Денежному Потоку в истории Человечества. И тебе укажут, где твое место на берегу, и выдадут тебе персональный черпак — черпай себе вволю,

лакай вовсю, только не хлюпай слишком громко, чтобы бедняки не услыхали…»

Сенатор крепко выругался.

— Что ты, отец, зачем ты так? — Голос Элиота прозвучал очень ласково.

Сенатор выругался еще крепче.

— Почему в наших разговорах каждый раз возникает такая *горечь*, такая напряженность? Я так тебя люблю.

— Ты похож на человека, который встал бы на углу с роликом туалетной бумаги, где на каждом квадратике написано: «Я вас люблю». И всякому, кто бы ни прошел, выдавал бы такой квадратик с надписью. Не нужна мне твоя туалетная бумажка.

— Не понимаю, какое тут сходство с *туалетной* бумагой?

— Пока ты не бросишь пить, ты вообще ничего не поймешь. — Голос сенатора дрогнул: — Передаю трубку твоей жене. Ты понимаешь, что ты ее потерял? Понимаешь, какой она была прекрасной женой?

— Элиот?.. — испуганно, чуть слышно окликнула его Сильвия.

Бедняжка весила не больше, чем подвенечная

фата.

— Сильвия. — Голос звучал суховато, твердо, без волнения. Элиот писал ей тысячу раз, звонил без конца. И сейчас она с ним впервые заговорила.

— Я… я понимаю, что вела себя нехорошо.

— Зато вполне по-человечески.

— А разве я могла иначе?

— Нет.

— А кто мог бы?

— Насколько я понимаю, никто.

— Элиот…

— Да?

— Как… как они все?

— Здесь?

— Везде.

— Прекрасно.

— Я рада.

Пауза…

— Если я начну расспрашивать про… про кого-нибудь, я заплачу.

— Не спрашивай.

— У кого-то родился ребенок?

— Не спрашивай.

— Ты, кажется, сказал отцу, что кто-то родил.

— Не спрашивай.

— У кого ребенок, Элиот? Скажи, я хочу знать.

— О господи боже, не спрашивай.

— Скажи, скажи мне!

— У Мэри Моди.

— Близнецы?

— Ну конечно.

И тут Элиот выдал себя с головой: он явно не питал никаких иллюзий насчет тех, кому посвятил свою жизнь.

— И вырастут они, наверное, поджигателями, — добавил он, так как семейство Моди славилось не только частым рождением близнецов, но и преступными поджогами.

— А малыши славные?

— Да я их не видел, — сказал Элиот раздраженным тоном, которым он не говорил с ней при других.

— А ты им уже послал подарок?

— С чего ты взяла, что я все еще рассылаю подарки? — Речь шла о том, что Элиот обычно посылал в подарок каждому новорожденному в округе акцию одной из своих машиностроительных компаний.

— Разве ты больше ничего не посылаешь?

— Ну посылаю, посылаю. — По его тону было слышно, как ему это осточертело.

— Голос у тебя усталый.

— Телефон плохо работает.

— Расскажи, какие у тебя новости?

— Моя жена по совету врачей разводится со мной.

— Неужели нельзя обойти эту новость?

Сильвия не шутила, горечь звучала в ее голосе: зачем касаться этой трагедии? Не надо было обсуждать.

— Топ-топ, обошли, — равнодушно сказал Элиот.

Элиот отпил глоток «Южной услады», но не насладился, а закашлялся.

Закашлялся и его отец. Это было случайное совпадение: отец с сыном, оба безутешные, оба — неудачники, одновременно раскашлялись. Кашель услыхала не только Сильвия, но и Норман Мушари. Мушари, незаметно выскользнув из гостиной, нашел отводную трубку в кабинете сенатора, и уши у него так и горели, когда он подслушивал разговор с Элиотом.

— Что ж, мне, наверное, пора проститься с тобой, — виновато сказала Сильвия. Лицо у нее было залито слезами.

— Это уж пусть решает твой врач.

— Передай — передай всем привет.

— Непременно, непременно!

— Скажи, что я постоянно вижу их во сне.

— Это для них большая честь.

— Поздравь Мэри Моди с рождением близнецов.

— Обязательно. Завтра буду их крестить.

— Крестить? — Этого Сильвия не ожидала.

У Мушари забегали глаза.

— Я… я не знала, что ты… что ты этим занимаешься, — опасливо проговорила Сильвия.

Мушари с удовольствием услыхал тревогу в ее голосе. Подтверждались все его подозрения: безумие Элиота явно прогрессировало, и он уже начинал впадать в религиозное помешательство.

— Мне никак нельзя было отказаться, — сказал Элиот. — Она не отставала, а больше никто не соглашается.

— Вот как! — Сильвия облегченно вздохнула. Но Мушари ничуть не огорчился. В любом суде это крещение могло послужить неоспоримым доводом, что Элиот считает себя Мессией.

— Я ей объяснял, объяснял, — сказал Элиот, но Мушари пропустил мимо ушей это оправдание — в мозгу у него были для этого специальные клапаны. — Говорю: я к религии отношения не имею и на небесах никакие мои действия все равно не

зачтутся, но она уперлась и никак не отставала.

— А что ты будешь говорить? Что будешь делать?

— Сам не знаю. — Элиот явно оживился, словно вдруг исчезли и усталость и огорчение, видно, ему вдруг понравилась эта мысль. Он даже неуверенно улыбнулся.

— Я, наверное, зайду к ней в лачугу. Окроплю близнецов водичкой, скажу: «Привет, малыши. Добро пожаловать на нашу землю. Тут жарко летом, холодно зимой. Она круглая, влажная и многолюдная. Проживите вы на ней самое большее лет до ста. И я знаю только один закон, дети мои:

НАДО БЫТЬ ДОБРЫМ, ЧЕРТ ПОДЕРИ!»

Глава 8

В этот же вечер Элиот и Сильвия договорились встретиться через три дня, вечером, в апартаментах «Синяя птица» отеля «Марот» в Индианаполисе, чтобы окончательно распроститься. Ничего не могло быть опаснее для двух людей, очень любящих и очень неуравновешенных, чем такая встреча. К концу разговор стал совершенно невнятным — оба что-то шептали, жаловались на одиночество, и наконец решили встретиться и договориться.

— Элиот… А может быть, не надо?

— По-моему, надо.

— Надо… — как эхо повторила она.

— Разве ты сама не чувствуешь, что нам надо встретиться?

— Да.

— Такова жизнь.

Сильвия покачала головой:

— Любовь… Какое это проклятье…

— Все будет хорошо, обещаю тебе.

— И я обещаю.

— Куплю себе новый костюм.

— Пожалуйста, не надо. Ради меня не стоит.

— Тогда ради «Синей птицы» — это же «люкс»!

— Спокойной ночи!

— Люблю тебя, Сильвия. Спокойной ночи.

Оба замолчали.

— Доброй ночи, Элиот.

— Люблю тебя.

— Спокойной ночи. Мне страшно. Спокойной ночи.

Их разговор очень обеспокоил Нормана Мушари. Он положил на место отводную трубку — ему все было слышно. Все его планы могли рухнуть, если бы Сильвия забеременела от Элиота. Их ребенок еще до рождения имел бы неоспоримое право на Фонд Розуотера, независимо от того, признают Элиота душевнобольным или нет. А Мушари мечтал, чтобы управление фондом перешло к троюродному брату Элиота, Фреду Розуотеру, который проживал в Писконтьюте, в Род-Айленде. Сам Фред ни о чем не подозревал, он даже не знал, что находится в родстве с индианапольскими Розуотерами. А Розуотеры из Индианы знали про существование Фреда лишь потому, что фирма Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги поручили очень добросовестному специалисту по родословным и частному сыщику выяснить, кто из ближайших родственников се-

мьи носит имя Розуотер. Досье Фреда в секретных картотеках фирмы уже стало довольно объемистым, как и сам Фред, но все сведения собирались тщательно и очень осторожно. Фреду и в голову не могло прийти, что именно ему может достаться богатство и слава Розуотеров.

Итак, на следующее утро после того, как Элиот и Сильвия договорились о встрече, Фред по-прежнему чувствовал себя человеком самым заурядным, пожалуй, даже зауряднее других, потому что впереди ничего хорошего не светило. Он вышел из писконтьютской кафе-аптеки, сощурился от солнечного света, сделал три глубоких вдоха и вошел в соседнее кафе, с книжным киоском. Человек он был грузный, обрюзгший от кофе, отяжелевший от пирожков. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред — единственный во всем городе — завтракал и в том и в другом кафе.

Фред с трудом протиснул свой живот к стойке, широко улыбнулся двум сидевшим там водопроводчикам и столяру. Он вскарабкался на табурет, и под его объемистым задом подушечка сплющи-

лась, словно пастила.

— Кофе с пирожком, мистер Розуотер? — спросила придурковатая грязнуха за стойкой.

— Кофе с пирожком? Отлично! Честное слово, в такое утро лучше кофе с пирожком ничего не придумаешь.

Кстати, про Писконтьют. Те, кто любил городок, звали его «Пискун», а те, кто не любил, говорили «Писун». Когда-то тут жил вождь индейцев по имени Писконтьют.

Этот Писконтьют носил кожаный фартук, питался, как и все его племя, креветками, малиной и шиповником. Земледелие для вождя Писконтьюта было открытием. Кстати, таким же открытием для него стали головные уборы из перьев, лук со стрелами и вампумы. Но самым ценным открытием стали спиртные напитки. Писконтьют умер от белой горячки в 1638 году.

Четыре тысячи лун прошло, и в поселке, увековечившем имя вождя, теперь проживало двести очень богатых семейств и около тысячи семейств обыкновенных, которые кормились тем, что так или иначе обслуживали богачей. Жизнь почти у всех была серая, скучная, не хватало в ней ни мудрости, ни радости, ни разнообразия, ни хорошего вкуса. Жили безотрадно и невесело, как

и в Розуотере, штат Индиана. Не помогали ни миллионные наследства, ни наука, ни искусство.

Фред был хорошим яхтсменом и когда-то учился в Принстонском университете, поэтому его принимали в богатых домах, хотя в Писконтьюте он считался почти нищим. Жил он в унылом, неприглядном деревянном домишке, крытом порыжелой черепицей, в миле от залитого солнцем побережья.

Ради тех несчастных грошей, которые бедняга Фред приносил домой, он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Трое работяг читали малопристойный иллюстрированный еженедельник, посвященный убийствам, сексу, всяким домашним зверушкам и детям, главным образом детям *изувеченным*. Журнал назывался *«Американский следопыт» — «самый увлекательный журнал на свете»*. И читали его в этом кафе, тогда как в кафе при аптеке читался *«Уолл-стрит джорнал»*.

— Набираетесь культуры, как всегда? — заметил Фред. Тон у него был приторный, приторный, как фруктовый торт.

Эти люди относились к Фреду хотя и уважительно, но с некоторой опаской. Над его страховыми

операциями они слегка подсмеивались, но в глубине души понимали, что он предлагал им единственно доступный им способ быстрого обогащения: застраховать свою жизнь и поскорее умереть. И Фред втайне с горечью сознавал, что без этих людей, не попадись они на его удочку, он бы ни цента не заработал.

Вел он дела исключительно с рабочим классом. А с яхтсменами-богачами, своими соседями, он нарочно разговаривал запанибрата у всех на виду. И это был чистый блеф, но все его клиенты попроще были уверены, будто эти хитрюги-капиталисты тоже застрахованы у Фреда, что было вовсе не так. Всеми капиталами богатых заправляли банки, адвокаты и маклеры где-то очень-очень далеко отсюда.

— Что нового в высших сферах? — поинтересовался Фред. Он всегда отпускал эту шутку по адресу *«Следопыта»*. В ответ столяр открыл перед Фредом журнал, где во весь разворот красовалась фотография прелестной девицы под крупной надписью. Надпись гласила:

ИЩУ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ДАСТ МНЕ ГЕНИАЛЬНОГО РЕБЕНКА.

Красотка была танцовщицей, звали ее Рэнди

Геральд.

— А я бы не прочь прийти барышне на помощь, — небрежно бросил Фред.

— Мать честная! — Столяр тряхнул головой, осклабился во весь рот: — Какой дурак откажется?

— Думаете, я всерьез? — Фред свысока глянул на Рэнди Геральд. — Да я свою подружку на двадцать тысяч таких Рэнди не променяю! — Он нарочно нахмурился: — Уверен, что и вы, ребята, своих подружек тоже ни на кого не променяете. — Фред называл «подружками» всех жен, чьих мужей он надеялся застраховать.

— Я ведь ваших подружек хорошо знаю, — продолжал Фред. — Знаю, что у вас ума хватит, и ни на кого вы их не променяете. Грех забывать, ребята, какие мы счастливцы. Повезло всем четверым, только и остается, что благодарить Создателя за такое счастье.

Фред помешал кофе:

— А уж я без своей жены ничего бы не добился! Верно вам говорю!

Жену его звали Каролиной. У них был сын, некрасивый толстый мальчик, унылое существо по имени Франклин Розуотер. Сама Каролина в последнее время пристрастилась к выпивке,

завтракая со своей богатой подругой Аманитой Бантлайн, известной лесбиянкой.

— Конечно, я для нее все сделаю, что могу, — заявил Фред. — Но все же мало сделал, мало, клянусь богом. Ради нее надо бы куда больше стараться. — У Фреда от волнения даже горло перехватило. Фред знал, что проявить волнение тут вполне уместно, даже надо почувствовать комок в горле, и почувствовать по-настоящему, иначе со страховками ни черта не выйдет.

— А ведь есть много такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни, — сказал Фред. — Многое можно для нее сделать.

Фред умиленно закатил глаза. Сам он стоил сорок две тысячи долларов — конечно, после смерти.

Фреда часто спрашивали — не родственник ли он знаменитому сенатору Розуотеру. Фред ничего толком не зная, обычно отвечал уклончиво, примерно так:

— Кажется, какое-то дальнее родство, точно не знаю…

Как и большинство американцев с более чем скромными средствами, Фред ничего не знал о своих предках. А знать о них можно было вот что.

Род-айлендские Розуотеры происходили от Джорджа Розуотера, младшего брата недоброй памяти Ноя. В начале Гражданской войны Джордж собрал в Индиане отряд стрелков и повел их на соединение с почти легендарной бригадой *«Черные шапки»*. Под командой Джорджа воевал и один деревенский дурачок, Флетчер Луун, которого Ной послал вместо себя. В сражении при Коровьем Броде артиллерия генерала Стонуола Джексона сделала из Лууна котлету. При отступлений через болота к Александрии капитан Розуотер выбрал минутку, чтобы послать брату Ною такую записку:

> «Флетчер Луун со своей стороны выполнил до конца взятые на себя обязательства. Если тебя огорчит, что вложенные в него средства израсходованы так быстро, советую тебе обратиться к генералу Поупу с просьбой хотя бы частично возместить убытки. Жаль, что тебя тут нет.
>
> *Джордж*».

Ной ответил ему так:

> «Жаль Флетчера Лууна, но, как сказано, кажется, в Библии: „Уговор дороже денег“.

Кстати, прилагаю документы и прошу их подписать. Это доверенность на управление до твоего приезда твоей половиной фермы, пилозавода и так далее. Мы тут терпим немало лишений – все идет в армию. Было бы весьма ценно получить хотя бы слово одобрения от армии. Жаль, что тебя тут нет.

Ной».

Ко времени сражения при Антиэтаме Джордж уже имел звание полковника и, как ни странно, лишился мизинцев на обеих руках. В этом сражении под ним убили лошадь, он на ходу подхватил полковое знамя из рук умирающего солдата, но в руках у него осталось только расщепленное древко: снарядом конфедератов тут же сорвало знамя. Он побежал, убил древком человека, и в эту минуту один из его собственных солдат выстрелил из мушкета, в котором застрял пыж. От взрыва полковник Розуотер ослеп на всю жизнь.

Слепой Джордж вернулся в округ Розуотер в чине полного генерала. Все удивлялись, почему он такой веселый. И его жизнерадостность ни на йоту не померкла, когда банкиры и адвокаты, любезно предложившие стать его глазами, объяснили, что у него никакого имущества нигде не

осталось, что он все отписал брату Ною. Самого Ноя, к сожалению, в городе не было, и объяснить Джорджу, как это случилось, он лично не мог. Дела требовали его присутствия и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии.

— Ну что ж, — сказал Джордж, улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь без конца, — в Библии ведь очень определенно сказано: «Уговор дороже денег».

Адвокатам и банкирам стало как-то обидно — неужели Джордж не извлек для себя никакого урока, ведь для любого другого человека такие события стали бы важной вехой в жизни. Один из адвокатов, который с удовольствием предвкушал тот момент, когда он укажет Джорджу на его ошибку, когда тот начнет рвать на себе волосы, не удержался и указал ему на ошибку, хотя тот смеялся:

— Всегда надо сначала *прочитать то,* что подписываешь, — наставительно сказал он.

— Будьте благонадежны! — сказал Джордж. — Уж теперь-то непременно так и стану делать.

Все-таки Джордж, очевидно, вернулся с войны не совсем нормальным человеком. Разве нормальный человек, потерявший зрение и все свое законное имущество, смеялся бы так часто, так весело? Любой нормальный человек, да еще

герой войны и полный генерал, наверное, предпринял бы самые решительные меры, чтобы, по закону, заставить брата вернуть его состояние. Но Джордж подавать в суд не стал.

И дожидаться возвращения Ноя в Розуотер он тоже не стал, и на Восток искать брата не поехал. И вообще они больше никогда не виделись и никак друг с другом не общались. Джордж, в полной генеральской форме, при всех орденах, обходил те семьи, откуда в его отряд пришел сын, а иногда и несколько сыновей, хвалил их за храбрость, горько жалел тех, кто был ранен или не вернулся домой.

А в это время в городе строился дворец для Ноя. И однажды утром рабочие увидали, что к парадной двери гвоздями прибита генеральская форма, как распяливают для просушки шкуры убитых зверей.

Так Джордж навеки исчез из округа Розуотер.

Джордж бродягой пробирался на Восток, но вовсе не в поисках брата, он не собирался его убивать, а в поисках работы в городе Провиданс, в Род-Айленде. Он прослышал, что там открылась мастерская, изготовлявшая щетки. Работать в этой мастерской должны были слепые ветераны гражданской войны.

Слухи подтвердились. Щеточную мастерскую открыл некий Кастор Бантлайн, который, кстати, сам не был ни слепым, ни ветераном войны, но он правильно рассчитал, что слепые ветераны будут очень покладистыми, что сам он войдет в историю как благодетель и гуманист, что все патриоты Северных штатов еще долгие годы после окончания войны будут покупать только *щетки Бантлайна марки «Северный Маяк»*. Так создался капитал Бантлайнов. Заработав на щеточном производстве, Кастор Бантлайн и его припадочный сын Элай поехали «мешочничать» в южные штаты и стали табачными королями.

Хотя генерал Джордж Розуотер и стер ноги в кровь, но продолжал улыбаться, придя в щеточную мастерскую. Кастор Бантлайн навел справки в Вашингтоне и, удостоверившись, что Джордж действительно генерал, взял его в мастерскую старшим мастером, назначил ему высокий оклад и назвал в его — честь один из сортов щеток «Генерал Розуотер». На время это фирменное название так вошло в привычку, что все такие щетки стали называть «генералами».

К слепому Джорджу приставили четырнадцатилетнюю девочку-сиротку по имени Фэйс Мэррихью. Она стала его поводырем и «поручен-

цем». Когда ей исполнилось шестнадцать лет, Джордж взял ее в жены.

И Джордж родил Эбрахама, ставшего священником-конгрегационалистом. Эбрахам уехал в Конго миссионером, женился на дочери другого миссионера-баптиста, по имени Лавиния Уотерс. Там, в джунглях, Эбрахам родил сына Мэррихью. Лавиния умерла родами, маленького Мэррихью вскормила негритянка из племени банту.

И вот Эбрахам с маленьким Мэррихью вернулся в Род-Ай-ленд. Эбрахам занял место проповедника конгрегационалистской церкви в маленьком рыбачьем поселке Писконтьюте. Он купил домишко и при нем — сто десять акров песчаной земли, поросшей жидким леском. Участок шел треугольником. По гипотенузе тянулась береговая полоса Писконтьютской гавани.

Сын священника, Мэррихью Розуотер, стал торговать земельными участками, нарезанными из отцовской земли. Женился он на Синтии Найльз Рэмфорд и взял за ней небольшое приданое. Капитал жены он вложил в строительство, проложил мостовые, поставил уличные фонари, провел канализацию. Он нажил на продаже участков порядочное состояние, но потерял во время депрессии 1929 года и свои, и женины деньги: и он

пустил себе пулю в лоб.

Но до этого он успел написать историю своей семьи и родить беднягу Фреда, страхового агента.

Сыновья самоубийц почти всегда неудачники.

Характерно, что именно им не хватает в жизни какой-то *изюминки*. Даже в стране, где большинство людей оторвано от своих корней, они больше других оторваны от своих предков. Они брезгливо отмахиваются от прошлого и с тупой покорностью предвидят свою мрачную участь, считая, что им тоже суждено покончить с собой.

Все признаки такого невроза были налицо и у Фреда. Вдобавок он страдал постоянным тиком, часто впадал в апатию, все ему становилось противно. Он слышал, как отец выстрелил в себя, видел его разлетевшийся вдребезги череп и лежавшую у него на коленях летопись их семьи.

Эту рукопись Фред подобрал, но ни разу в нее не заглянул — читать историю их семьи ему было неинтересно. Он положил рукопись на стоявший в подвале его дома буфет, где хранились банки с вареньем. Кстати, на том же буфете стояли жестянки с крысиным ядом.

А сейчас бедняга Фред все сидел и сидел в кафе при книжном киоске, и все бубнил и бубнил двум водопроводчикам и столяру про их подруг

жизни.

– *Мы-то* с тобой, Нед, сделали все, что могли, для наших подружек.

И действительно, столяр, благодаря стараниям Фреда, стоил двадцать тысяч долларов — конечно, после смерти. Вот почему каждый раз, как ему приходилось платить очередной страховой взнос, столяра неотвязно преследовала мысль о самоубийстве.

— Нам теперь и думать не надо, как бы хоть немножко подкопить, — сказал Фред. — Все без нас делается, само собой, *автоматически*.

— Угу, — сказал Нед.

Молчание набухало, как бревно в воде. Двое незастрахованных водопроводчиков, еще минуту назад такие веселые скабрезники, сейчас совсем сникли.

— Мы с вами одним росчерком пера уже скопили порядочную сумму, — напомнил Фред столяру. — Вот какое чудо — страховка. Такую малость каждый из нас обязан сделать для своей подруги жизни.

Водопроводчики нехотя сползли с табуреток. Но Фред не огорчился. Пусть себе уходят. Куда бы они ни пошли, их везде будут преследовать угрызения совести, да и в это кафе они зайдут

еще не раз.

А тут их всегда будет поджидать Фред.

— Знаете, какое самое большое удовлетворение дает мне моя профессия? — спросил Фред у столяра.

— Не-е.

— Всегда радуюсь, когда ко мне подойдет чья-то подружка и скажет: «Не знаю, как моим детям и мне отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер!»

Глава 9

Столяр тоже бросил Фреда Розуотера, оставив на столе номер *«Американского следопыта»*. Фред разыграл целую пантомиму, чтобы все случайные посетители видели, как ему скучно, и читать совершенно нечего, и спать охота, может быть, даже с похмелья, и что он машинально будет глазеть на любую печатную страницу, даже не замечая, что это за чтиво.

— У-у-о-оо-хо-хо! — сладко зевнул он, потянулся, широко разводя руки и как бы нечаянно захватывая журнальчик.

В лавке в это время никого, кроме девицы за стойкой, не было.

— Не понимаю, — сказал ей Фред. — Ну какой идиот станет читать эти гадости?

Девица могла бы честно ответить, что он-то сам каждую неделю читает эти гадости от корки до корки. Но так как эта грязнуха была полной идиоткой и ничего не поняла, она сказала:

— Ничего не знаю, ничего не трогаю — хоть обыщите!

Предложение звучало не слишком соблазнительно.

Фред, подозрительно посапывая, развернул страницу под озаголовком: «Я ВАС ЖДУ!» Мужчины и женщины откровенно заявляли, как им нужна любовь, или брак, или всякие другие штучки. Стоило такое объявление один доллар сорок пять центов.

«Привлекательная, веселая особа 40 лет, служащая, с высшим образованием, еврейка, проживающая в Коннектикуте, — говорилось в одном из них, — ищет встречи с серьезным мужчиной иудейского вероисповедания, с высшим образованием. Цель — брак. Детей примет с восторгом». Очень мило, ничего не скажешь. Но дальше шли далеко не столь симпатичные заявки.

«Мужской парикмахер, Сент-Луис, ищет пикантных мужчин для совместных развлечений, фотографии присылать „о-натю-рель“», — гласила следующая.

«Супруги, приезжие (г. Даллас), ищут знакомства с супружескими парами без предрассудков, интересующимися откровенным фотоискусством. Ответы на искренние предложения гарантированы. Фото возвращаются по требованию».

Было и такое:

«Преподаватель начальной школы остро нуждается в строгой инструкторше, обучающей

хорошим манерам, предпочитает любительниц конного спорта, германских или скандинавских кровей, — объявлял некий педагог. — Согласен в отъезд, в пределах США».

«Гос. чин. Нью-Йорк желает встреч любой день кр. воскр. Скром. не предлаг.».

Тут же прилагался купон — читатель мог занести сюда свои пожелания. Фреду тоже смутно захотелось дать объявление.

Затем он прочитал подробное описание изнасилования с убийством: произошло это дело в Небраске, в 1938 году. Очерк был иллюстрирован непристойно — натуралистическими фотографиями, какие полагается видеть только судебному следователю. Прошло уже тридцать лет после этого преступления, но сейчас о нем читал не только Фред, а еще десять миллионов читателей этого журнальчика, темы не устаревали, вечные темы. В любое время можно было сообщить под кричащими заголовками о Лукреции Борджиа. Кстати, именно из «Следопыта» Фред, проучившийся лишь год в Принстонском университете, узнал о смерти Сократа.

В дверях показалась высокая, голенастая, похожая на лошадку девочка, тринадцатилетняя Лайла Бантлайн, дочь закадычной подруги жены

Фреда, и он сразу отбросил журнал. Кожа у девочки обветрилась, загорела, лупилась от солнечных ожогов, все лицо было покрыто веснушками и пятнами свежей розовой кожицы. Темные круги лежали под ее очень красивыми зелеными глазами. Лайла была одной из самых лучших, самых опытных яхтсменок писконтьютского яхтклуба.

Девочка с жалостью взглянула на Фреда — и оттого, что он такой бедный, и оттого, что жена у него — такая дрянь. А сам он — такой толстый и скучный до одури. Лайла прошла к вертящейся стойке под названием «Лентяйка Сюзан», где были выставлены новые газеты и книжки, и скрылась, усевшись на холодный цементированный пол.

Фред снова потянулся за журналом, прочитал несколько объявлений, где предлагалась всякая похабщина. Он часто задышал. Бедняга Фред относился к *«Следопыту»* и ко всему, что там, писалось, как школьник младших классов, но впустить это все в свою жизнь, затеять переписку по указанным адресам, он не, решался. И оттого, что он был сыном самоубийцы, нечего и удивляться, что тайные желания только смутно копошились в глубине его души.

Вдруг в кафе ввалился огромный детина и так

быстро очутился около Фреда, что тот не успел спрятать журнальчик.

— Ух ты, страховщик несчастный, ишь над чем слюни пускает, похабник ты этакий, так твою растак!

Звали этого здоровяка Гарри Пина, был он по профессии рыбаком, а кроме того, начальником добровольной пожарной дружины Писконтьюта. Гарри был владельцем двух рыбных затонов, на мелководье, у самого берега — настоящие лабиринты из шестов и сетей, где рыба, заплывавшая туда, платилась за свою глупость, на что и рассчитывал Гарри. Одной стороной затон упирался в берег, а другой — соединялся с круглой ловушкой, из кольев и свисавших с них сетей, опущенных на самое дно. Рыбы, плавая у берега, обходили затон, попадали в горловину, тупо кружили меж кольев и сетей по затону, ища выхода, — и тут подходил на лодке Гарри, с двумя рослыми сыновьями, выбирал постепенно сеть, лежавшую на самом дне, и безжалостно бил, бил и бил глупых рыб молотками и острогами.

Хоть Гарри был и немолод и кривоног, но плечи и голова у него были такие мощные, что сам Микеланджело мог бы лепить с него Моисея, а то и самого Создателя вселенной. Раньше Гарри

не занимался рыбачьим промыслом — он был таким же «несчастным страховщиком», как и Фред, жил в Питсфилде, штат Массачусетс. Но однажды, чистя ковер у себя дома *четыреххлористым углеродом*, он чуть не отравился насмерть, надышавшись ядовитых испарений.

Когда он выздоровел, его врач сказал:

— Гарри, ищите работу на свежем воздухе, иначе вы умрете.

И Гарри пошел по стопам своего отца — стал рыбаком.

Гарри обнял пухлые плечи Фреда. Он мог себе позволить такие проявления дружбы: во всем Писконтьюте он считался настоящим образцом нормального мужчины, без всяких экивоков.

— Эх ты, страховщик распроэтакий, горемыка несчастный! Ну зачем тебе надрываться? Занялся бы лучше каким-нибудь настоящим, хорошим делом!

— Как тебе сказать, Гарри. — Фред глубокомысленно выпятил губу. — Быть может, мои установки, мое отношение к страховому делу расходятся с твоими.

— Чепуховина! — сказал Гарри. Он выхватил журнал у Фреда, прочитал просьбу красотки Рэнди Геральд на первой странице. — Будь я

неладен, — сказал он, — уж какого-никакого ребеночка я бы ей сделал, и время сам бы назначил, а ее и спрашивать не стал!

— Нет, Гарри, серьезно говорю, — настаивал Фред. — Я *люблю* страховое дело. Люблю *помогать* людям.

Гарри что-то буркнул — слышу, мол. Он насупившись разглядывал фото юной француженки в купальном костюме.

Фред понимал, что для Гарри он — существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок как мужчина мужчину:

— Нравится, Гарри, а?

— Что именно?

— Эта девочка!

— Это не девочка. Это кусок бумаги.

— А *по-моему*, девочка. — И Фред Розуотер хитро улыбнулся:

— Легко же тебя облапошить, — сказал Гарри. — Да разве тут, перед нами, лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас, ей даже невдомек, что мы есть на свете. Если эту бумажку считать настоящей девочкой, так мне бы только и дел было бы сидеть дома и вырезать из журналов картинки да фото про всяких рыб, да покрупнее.

Гарри Пина стал просматривать объявления в отделе *«Я вас жду!»* и попросил у Фреда ручку.

— Ручку? — переспросил Фред, словно впервые слышал это слово.

— Ручка у тебя *есть* или нет?

— Конечно, есть, как же. — Фред торопливо подал ему одну из девяти ручек, растыканных у него по всем карманам.

— Да, ручек у него хватает, — засмеялся Гарри и написал на пустом бланке следующее объявление:

«Папашка с перчиком белой расы ищет мамашку с перчиком любой расы, любого возраста, любой религии. Цель — все что угодно, кроме брака. Обменяюсь фото. Зубы у меня свои».

— Неужели и вправду пошлешь? — спросил Фред. Видно было, что его самого так и подмывает послать объявление, получить парочку-другую похабных фото.

Гарри подписался: *«Фред Розуотер. Писконтьют. Род-Айленд»*.

— Очень остроумно, — ледяным голосом сказал Фред, отодвигаясь от Гарри с видом оскорбленного достоинства.

— Для нашего Писконтьюта очень даже остроумно, — сказал Гарри и подмигнул.

Тут в кафе вошла жена Фреда Каролина. Это была миловидная, худенькая женщина с напряженным, растерянным выражением лица, всегда разодетая, как куколка, в нарядные платья, подаренные ей ее богатой приятельницей Аманитой Бантлайн. Каролина Розуотер вся сверкала и переливалась от дешевых украшений. Надевала она их для того, чтобы платье с чужого плеча казалось сшитым на ее вкус. Она собиралась идти завтракать с Аманитой и хотела взять немного денег у Фреда, чтобы с чистой совестью сделать вид, что хочет сама за себя заплатить.

Разговаривая с Фредом и чувствуя на себе пристальный взгляд Гарри, она держала себя как женщина, которая старается сохранить достоинство, упав на четвереньки. Она жалела себя за то, что вышла замуж за такого скучного; такого бедного человека, причем Аманита жадно раздувала в ней это чувство. То, что она сама была такая бедная и такая же скучная, как Фред, она органически понять не могла. Во-первых, она была членом элитного студенческого клуба, куда ее выбрали, когда она училась на философском факультете Диллонского университета, в Додж-Сити, штат Канзас. В этом самом Додж-Сити, в одном из военных клубов, она и встретила

Фреда, который во время корейской войны служил в форте Рейли. Вышла она замуж за Фреда, потому что была уверена, что каждый, кто живет в Писконтьюте и учился в Принстонском университете, — богатый человек. Для нее было большим унижением — увидеть, что это вовсе не так. Она искренне считала себя интеллигенткой, но знания у нее были ничтожные, а те затруднения, которые вставали перед ней, можно было преодолеть только деньгами, и деньгами очень большими. Хозяйка она была прескверная. Она всегда плакала за домашней работой, так как была уверена, что заслуживает лучшей доли.

Кстати, в ее отношениях с Аманитой ничего особенно порочного с ее стороны не было. Она просто была хамелеоном, притворщицей, которая старалась приспособиться к жизни.

— Опять завтракать с Аманитой? — сказал Фред.

— Ну и что?

— Дорогое удовольствие — каждый день эти чертовы завтраки.

— Не каждый день, а от силы два раза в неделю. — Голос у нее был колючий, ледяной.

— Все равно, денег уходит уйма.

Каролина протянула к деньгам ручку в белой

перчатке:

— Для жены денег не жалеют!

И Фред дал ей деньги.

Каролина даже не сказала «спасибо». Она вышла и села рядом с надушенной Аманитой на обтянутые золотистой лайкой подушки ее голубого «мерседеса».

Гарри Пина взглянул на бледное, как мел, лицо Фреда, но ничего не сказал. Он закурил сигару, вышел и отправился ловить настоящих рыб с настоящими своими сыновьями, в настоящей лодке, в настоящем соленом море.

Лайла, дочь Аманиты Бантлайн, сидела прямо на полу за вертушкой с книгами, просматривая *«Тропик, рака»* Генри Миллера и *«Голый завтрак»* Бэрроуза, снятые со специальной полки.

Тринадцатилетняя Лайла интересовалась этими произведениями с чисто коммерческой точки зрения. Во всем Писконтьюте она была главной поставщицей порнолитературы.

Она и фейерверками занималась с той же целью, что и порнографической литературой, то есть ради денег. Ее дружки по Писконтьютскому яхтклубу и средней школе были так богаты и так глупы, что готовы были платить ей сколько угодно за что угодно. В удачный денек она могла

загнать семидесятицентовое издание *«Любовника леди Чаттерлей»* за два доллара, а пятнадцатицентовую «римскую свечу» за пятерку.

Она скупала фейерверки во время каникул, когда всей семьей ездили то в Канаду, то во Флориду, а то и в Гонконг. Почти все порноиздания она просто брала с выставки в местной книжной лавке. Фокус был в том, что Лайла отлично знала, какие названия сулят похабщину, какие — нет, а это было невдомек и ее школьным товарищам, и даже продавцам в книжной лавке. И Лайла молниеносно скупала все книги с заманчивыми названиями, как только они появлялись на вертящейся полке. Все ее сделки шли через придурковатую девицу за стойкой, которая сразу все забывала начисто.

То, что Лайла орудовала именно в этой лавочке, было особенно символично, потому что в окне лавки красовался огромный позолоченный медальон из пластика, на котором было написано «*Союз род-айлендских матерей* по спасению детей от всякой скверны». Представительницы этого общества регулярно проверяли литературу в лавке в поисках нецензурных произведений, и выставленный в окне медальон указывал на то, что в этой лавке все чисто. И никакой порногра-

фии они тут не нашли.

Они были уверены, что их детки «спасены от всякой скверны», но на самом деле всю порнолитературу заранее скупала Лайла.

Только один товар в этой лавочке Лайле купить не удавалось, а именно — неприличные фотографии. Но их она доставала, отвечая на похабные объявления в номерах «Следопыта», на которые бедняга Фред Розуотер только облизывался каждую неделю.

В детский мир Лайлы, сидевшей на полу, у книжной полки, вдруг вторглись огромные ноги Фреда Розуотера. Но Лайла не стала прятать свое рискованное чтиво, и продолжала читать *«Тропик рака»*, как будто это был *«Робинзон Крузо»*.

«Чемодан открыт, вещи валяются на полу… Она юркнула в постель, не раздеваясь… Раз, другой, третий, четвертый… Боюсь, что она сойдет с ума… Как сладко чувствовать ее опять… Но надолго ли? Предчувствие меня томит — нет, ненадолго…»

Лайла и Фред уже не раз встречались у книжной полки. Он никогда не спрашивал, что она читает. И она предвидела, что именно он сейчас сделает, — посмотрит грустными голодными глазами на яркие обложки с соблазнительными

девицами и возьмет пухлый ежемесячник вроде «Садоводство и домоводство». Так он сделал и сейчас.

— Кажется, моя жена опять поехала завтракать с твоей мамочкой, — сказал Фред.

— Кажется, да, — сказала Лайла. На этом их разговор окончился, но Лайла продолжала думать о Фреде. Над ней возвышались толстые Розуотеровские икры. Когда Фред в яхтклубе или на пляже попадался ей на глаза в шортах или купальном костюме, его икры всегда были покрыты шрамами и синяками, будто его постоянно кто-то бил, бил — и били ногами. Лайла подумала: может, Фреду не хватает витаминов или у него чесотка, оттого и на икрах у него такая кожа.

На самом же деле кровавые синяки у Фреда появлялись из-за не совсем обычной расстановки мебели в их квартире, почти шизофренического пристрастия его жены к маленьким столикам — десятки этих столиков были расставлены по всему дому. На каждом столике красовалась пепельница и вазочка с пыльными мятными конфетками — послеобеденное угощение для гостей, которых Розуотеры никогда не принимали. И Каролина вечно переставляла столики — то для одного воображаемого приема, то для другого.

И бедный Фред вечно стукался об эти столики, набивая себе синяки.

Один раз Фред так глубоко рассек подбородок, что пришлось наложить одиннадцать швов. Но порезался он в данном случае не о столик. Он порезался о некий предмет, который Каролина никогда не убирала на место. Предмет этот вечно попадался на дороге, как ручной муравьед, который любит спать именно на пороге двери, или на лестнице, или у самого камина. Предмет, о который споткнулся Фред и, упав, рассек себе подбородок, был пылесос Каролины *«Электролюкс»*. Каролина, как видно, подсознательно дала себе клятву — не убирать пылесос, пока не разбогатеет.

Подумав, что Лайла не обращает на него никакого внимания, Фред отложил журнал *«Садоводство и домоводство»* и снял с полки книжонку в немыслимо соблазнительной обложке под заманчивым названием *«Венера в раковине»* Килгора Траута. На оборотной стороне обложки красовалось сокращенное изложение эпизода, где бушевали накаленные добела страсти. Вот что там было написано:

«Королева Маргарет, владычица пла-

неты Шелтун, уронила с плеч пышное одеяние. Под ним ничего не было. Высокая гордая грудь расцвела как розан. Талия и бедра призывно сверкали, как лира из чистейшего мрамора. От них исходило такое сияние, словно внутри теплился мягкий свет.

– Окончен твой путь, о Космический Странник, – прошептала она, и ее грудной голос дрогнул в страстной мольбе. – Не ищи ответа на проклятые вопросы – ответ в моих объятиях.

– О королева, – проговорил Космический Странник, – этот ответ полон соблазна, спору нет. – Капли пота увлажнили ладони Странника. – Я приму его с благоговением. Но я хочу быть честным с вами и потому скажу откровенно: завтра я должен снова пуститься в путь, в поиски…

– Но ведь ты уже нашел ответ, ты нашел его! – воскликнула она и с силой прижала его голову к своей пышной душистой груди.

Он что-то сказал, но она не разобрала слов. Она отклонила его голову, не выпуская ее из рук:

– Что ты – сказал?

– Я сказал: ответ ваш прекрасен, спору нет, но увы! Это совершенно не тот ответ, который я так упорно ищу!»

На обложке была и фотография Траута — пожилого человека с окладистой черной бородой. У него был вид испуганного, уже немолодого Христа, которому казнь на кресте заменили пожизненным заключением.

Глава 10

Лайла Бантлайн неторопливо проезжала на велосипеде по уже притихшим улицам почти нереально красивого района Писконтьюта. Каждый особняк, мимо которого она проезжала, походил на сон, ставший явью, и стоил уйму денег. Владельцам особняков работать никогда не приходилось, и детям их работать не придется, они и так ни в чем нуждаться не станут, если только против них не поднимут бунт. Впрочем, никто бунтовать не собирался.

Прелестный особняк Лайлы в георгианском стиле стоял на самой набережной. Войдя в парадное, она оставила свои новые книжки в холле и потихоньку пробралась в кабинет отца, вечно лежащего на диване, взглянуть — жив он или нет. Она непременно каждый день заходила к нему.

— Отец?

Утренняя почта лежала на серебряном подносике на столике у изголовья. Рядом стоял стакан виски с содовой. Пузырьки уже не поднимались со дна. Стюарту Бантлайну еще не было сорока. Он был самым красивым мужчиной в городе, кто-то

назвал его «помесью Гэри Гранта[11] с фарфоровым пастушком». На его плоском животе лежал тяжелый том — железнодорожный атлас времен Гражданской войны, подарок жены, стоивший пятьдесят семь долларов. Гражданская война была единственным его интересом в жизни.

— Папа…

Но Стюарт не пошевельнулся. Отец оставил ему в наследство четырнадцать миллионов, нажитых главным образом на табаке. И капитал этот расцветал, рос, скрещивался с другими капиталами, его удобряли и подкармливали в теплицах банков Бостона на их гидропонических денежных фермах, ведавших основными капиталами. И капитал давал побеги — восемьсот тысяч долларов в год, с того дня, как его положили в банк на имя Стюарта. Дела шли отлично. Больше ничего Стюарт об этих делах не знал. Иногда у Стюарта пытались получить деловой совет, и он, как правило, решительно заявлял, что предпочитает всем акциям *«Полароид»*. Собеседники обычно находили такой ответ весьма толковым, хотя на самом деле Стюарт понятия не имел, есть у него акции *«Полароид»* или нет. Дела за него вел банк

---

[11] notes: 11
Гэри Грант — известный киноактер.

и адвокатская контора Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги.

— Папа…

— М-ммм?..

— Пришла посмотреть, как… как ты? Все в порядке? — сказала Лайла.

— Угу… — промычал он неуверенно, приоткрыл глаза, облизал губы: — Все хорошо, детка.

— Ну и спи спокойно. И он заснул.

Он и вправду мог спать спокойно, так как его дела велись той же конторой, что и дела сенатора Розуотера, и велись с тех самых пор, как он осиротел в шестнадцать лет. Занимался его делами сам Мак-Алистер. В последнее письмо с отчетом старый Мак-Алистер вложил некое литературное произведение под названием «Идейный раскол в лагере друзей-единомышленников». Книга вышла в издательстве «Сосны» при Свободной школе, в Колорадо-Спрингс п/я 165, штат Колорадо. Сейчас брошюра служила закладкой в железнодорожном атласе. Старый Мак-Алистер постоянно посылал Стюарту литературу, где козни социалистов противопоставлялись идеям свободного предпринимательства, так как лет двадцать тому назад к нему в контору ворвался юный Стюарт и, сверкая глазами, заявил, что

капиталистическая система никуда не годится и что он сам намерен раздать все свои деньги беднякам. Тогда Мак-Алистеру удалось отговорить порывистого юнца от его намерений, но старик до сих пор беспокоился — как бы у Стюарта не наступил рецидив. Вот он и посылал брошюры с профилактической целью.

Однако Мак-Алистер зря беспокоился. И в пьяном состоянии, и в трезвом, с брошюрками или без них Стюарт был безоговорочно предан свободному предпринимательству. Ему не нужны были такие брошюры, как «Идейный раскол в лагере друзей», написанная, очевидно, неким консерватором в виде письма к воображаемым друзьям, которые, незаметно для себя, стали социалистами. И оттого, что Стюарту это было ни к чему, он даже не прочитал, что автор писал о тех паразитах, которые пользуются помощью всех благотворительных организаций и получают социальное обеспечение в разных видах. А говорилось о них вот что:

> «Принесла ли наша помощь пользу этим людям? Присмотритесь к ним внимательно. Возьмем типичного представителя тех, кого мы своими руками

создали, пожалев их. Что мы теперь можем сказать третьему поколению людей, которые уже давно привыкли жить за счет нашей благотворительности? Исследуйте внимательно, что мы с ними сделали, взгляните, кого мы породили, кого и сейчас порождаем, – их миллионы, даже во времена всеобщего благоденствия.

Эти люди не работают и работать не желают. Они бездумно опустили руки, в них нет человеческого достоинства, нет самоуважения. На них ни в чем нельзя положиться, и не потому, что они злы, но просто оттого, что они, как стадо, бесцельно бродят по земле. От долгого бездействия у них атрофировалась способность мыслить, способность глядеть вперед. Поговорите с ними, послушайте их, поработайте над ними, как работаю я, и вы с ужасом поймете, что они потеряли всякий образ человеческий, хотя и стоят на двух ногах и, как попугаи, повторяют: „Еще. Подайте мне. Мне мало, мне не хватает…“ – других мыслей у них нет, больше они ничему не научились.

И в эти дни они высятся перед нашим взором, как грандиозная карикатура на Гомо Сапиенс, суровый и страшный образ той действительности, которую мы сами создали ложным своим состраданием. Вот они – живое пророчество того, какими очень многие из наших ближних еще могут стать, если мы будем идти тем же курсом».

И так далее…

Впрочем, Стюарту все эти рассуждения были нужны, как собаке пятая нога. Он давным-давно покончил с ложным состраданием, покончил и с вопросами секса, да и Гражданская война, честно говоря, ему давно осточертела.

Двадцать лет назад у Стюарта с Мак-Алистером состоялся тот самый разговор, который повернул Стюарта на путь консерватизма:

— Значит, вы хотите стать святым, молодой человек?

— Я не то говорил, надеюсь, вы поймете меня правильно. Скажите, мое наследство находится в вашем ведении? И эти деньги не я сам заработал?

— Отвечаю на первый вопрос: да, в нашем ведении находится капитал, который вы унасле-

довали. В ответ на второй вопрос скажу так: если вы пока что ничего не заработали, вы впредь будете зарабатывать, непременно будете. Вы принадлежите к семье, которая создана для того, чтобы к ней текли деньги, и все, что ей требуется, и даже больше. Вы получите неограниченную власть, мой мальчик, потому что вы рождены для власти, но, конечно, и власть может стать настоящим адом.

— Все может статься, мистер Мак-Алистер. Поживем — увидим. Но вот о чем я вам хочу сказать. На свете столько несчастных людей, а деньгами можно облегчить их страдания, а у меня этих денег больше, чем мне нужно. Вот я и хочу помочь этим беднякам — накормить их как следует, одеть, поселить в хорошие дома — и не откладывать это дело.

— А как же вас прикажете называть после таких благодеяний? Святым Стюартом или же Пресвятым Бантлайном?

— Я к вам не для того пришел, чтобы вы надо мной издевались.

— А ваш отец не для того назначил нас поверенными в ваших делах, чтобы мы вежливенько соглашались со всем, что вы тут наговорите. И если я, по-вашему, говорю с вами невежливо и

бесцеремонно насчет того, не причислить ли вас к лику святых, то лишь потому, что мне столько раз приходилось вести с такими же юнцами те же глупые разговоры. Главная задача нашей конторы — предупреждать всякие проявления святости у наших клиентов. Думаете, вы исключение? Нет, таких много. По крайней мере, раз в год к нам является один из тех, чьим капиталом мы ведаем, и заявляет, что хочет раздать свои деньги беднякам. Обычно он только что окончил первый курс какого-нибудь прославленного университета. Год был для него знаменательный. Тут он впервые услышал о невероятных страданиях во всем мире. Услыхал он и о том, какими преступлениями создавались богатства многих семейств. Впервые его, верующего христианина, по-настоящему ткнули носом в Нагорную проповедь. Он сбит с толку, он чуть не плачет, он сердится. Замогильным голосом он вопрошает — как велик его наследственный капитал. Мы ему сообщаем. Он бледнеет от стыда, даже если его богатство добыто самым честным и невинным путем — например, выработкой и продажей прочной прозодежды для рабочих или, как в вашей семье, выделкой щеток. Если не ошибаюсь, вы только что проучились год в Гарварде? Вели-

колепный университет, но, когда я вижу, какое влияние он оказывает на некоторых молодых людей, я себя спрашиваю: как они смеют учить состраданию и не касаться исторических фактов? А история учит нас одному, дорогой мой мистер Бантлайн, и только одному: раздавать деньги и вредно и бессмысленно. Бедняки становятся нытиками, оттого что им всего мало, а те, кто раздает деньги, сами становятся неотличимы от этих полунищих нытиков.

— Большое состояние, которое вы унаследовали, — это чудо, редкое чудо, — говорил в тот далекий день старый Мак-Алистер молодому Бантлайну. — Вы получили его, не затратив никаких трудов, потому и не понимаете, что это такое. И чтобы помочь вам понять, какое это чудо, я вам скажу то, что, может быть, и покажется вам обидным. Ваш капитал — единственный и самый важный фактор, определяющий то, что вы собою представляете, что о вас думают другие. Благодаря этим деньгам вы — человек необычный. А без них, например, вы не могли бы, как сейчас, отнимать драгоценное время у старшего партнера адвокатской конторы Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги.

Если вы раздадите свой капитал, вы станете

самым обыкновенным из обыкновенных людей — если только вы не гений.

Вы ведь не гений, мистер Бантлайн, не так ли?

— Нет.

— Гм… Впрочем, будь вы даже гением, без денег у вас не будет ни такой свободы, ни таких жизненных благ. Более того, вы обрекаете и своих потомков на унылую, полную терзаний жизнь, их вечно будет грызть мысль, что они могли бы жить богато, свободно, если бы их глупый предок не разбазарил бы весь капитал.

Не выпускайте ваше богатство из рук, мистер Бантлайн. Деньги — это концентрат Утопии. Почти у всех людей жизнь собачья, как вам старательно внушали ваши профессора. Но и вас, и вашу семью благодаря вашим деньгам ждет райская жизнь. И я хочу видеть, как вы улыбнетесь, когда наконец поймете то, чему не учат в вашем Гарварде, — поймете, что родиться богатым и остаться богатым — совсем не такое страшное преступление.

Лайла, дочь Стюарта, поднялась к себе в комнату. Мать сама выбрала цветовую гамму — розовую с белоснежным. Широкие окна выходили на залив, на пристань яхтклуба, где белели паруса яхт. Рыбачья лодка *«Мария»*, сорокафутовая неук-

люжая посудина, плюясь дымом, пробиралась между яхтами, подымая волну вокруг этих игрушечных суденышек. И назывались эти игрушки по-разному: *«Рыжий пес»*, *«Бутон-2»*, *«Бантик»*, *«За мной!»*, *«Призрак»* и так далее. *«Бутон-2»* принадлежал Фреду Розуотеру, *«Бантик»* — чете Бантлайн. Хозяином *«Марии»* был Гарри Пина, владелец рыбных затонов. Старая серая посудина во всякую погоду ковыляла по волнам, неся на борту тонны свежей рыбы.

На палубе не было никаких надстроек, кроме деревянного ящика, служившего укрытием новехонькому мотору «крайслер». На ящике находился стояк штурвала, подача газа и глушитель мотора. Кроме этого ящика и голых ребер шпангоутов, ничего на этой посудине видно не было.

Гарри вел мотобот к рыбным садкам. Оба его великовозрастных сынка, Мэнни и Кенни, растянулись рядышком на палубе, вполголоса рассказывая друг дружке всякую похабщину. У каждого под боком лежала острога в шесть футов длиной, Гарри был вооружен шестифунтовым молотом. На всех троих были резиновые фартуки и сапоги. Когда они глушили рыбу, все бывало залито кровью.

— Хватит вам трепаться про баб, — сказал Гар-

ри. — Про рыбу надо думать.

— Будем, будем, старина, когда до твоих годков доживем! — весело откликнулись парни.

Над аэропортом близ Провиденс низко кружил самолет, готовясь к посадке. В самолете, читая *«Совесть консерватора»*, летел Норман Мушари.

Самая большая в мире частная коллекция гарпунов была выставлена в ресторане «Затон», в пяти милях от Писконтьюта. Хозяином ресторана был гомосексуалист, рослый человек родом из Бедфорда, которого звали Зайка Викс. До тех пор, пока Зайка Викс не приехал из Бедфорда и не открыл ресторан, Писконтьют решительно никакого отношения к китобойному промыслу не имел.

А назвал Зайка свой ресторан *«Затоном»* потому, что окна выходили на затон, где Гарри Пина глушил рыбу. На каждом столике в ресторане лежали бинокли, чтобы посетители могли смотреть, как Гарри со своими сынками бьют рыбу. И пока рыбаки трудились, как говорится, у самого синего моря, Зайка, переходя от столика к столику, со вкусом, как *заядлый рыболов*, объяснял, что именно они делают и зачем. Подходя, он бесцеремонно лапал девиц, но никогда не прикасался ни к одному мужчине.

Если же клиенты хотели тесней соприкоснуться с рыбачьим промыслом, они могли заказать коктейль *«Летучая рыба»*, из рома, гренадина и клюквенного сока или салат *«Рыбацкий»*, состоящий из очищенного банана, торчащего из ломтика ананаса, который лежал в гнезде из пышно взбитого рыбного пюре, украшенного кудрявыми стружками кокосового ореха.

И Гарри Пина, и его сынки отлично знали про салат, и про коктейль, и про бинокли, хотя сами никогда в *«Затон»* не заходили. Иногда они поддерживали свою невольную связь с жизнью ресторана тем, что мочились с борта лодки на виду у посетителей. Называлось это у них *«подсолить уху для Зайки Викса»*.

Коллекцию гарпунов Зайка Викс прикрепил к некрашеным стропилам сувенирного зала, расположенного при входе в ресторанчик, в нарочито запущенных, и даже замшелых, сенях. Это помещение называлось *«Веселый китобой»*, свет проходил через пыльное окно в крыше, причем пыль была искусственная: стекло сверху поливалось жидкостью для мытья стекол, которая засыхала и не стиралась. Тень стропил и развешанных на них гарпунов ложилась от света, проникающего через это окошечко, па-

дала на прилавок, где были разложены всякие сувениры. Зайка старался создать впечатление, что настоящие китобои, пахнущие ворванью, ромом и потом, оставили свои гарпуны у него на хранение и вот-вот вернутся за ними.

Сейчас под сенью стропил и гарпунов по киоску расхаживали Аманита Бантлайн и Каролина Розуотер. Аманита шла впереди — она задавала тон, жадно и глубоко хватая сувениры с прилавка. А сувенирчики были такие, что могли даже импотента мужа заставить выполнять прихоти холодной супруги. Каролина казалась робким отражением Аманиты. Она как-то неловко путалась у нее под ногами, а та непрестанно заслоняла от нее вещи, которые Каролина хотела поглядеть. Но как только Аманита отходила и Каролине становилось видно то, что Аманита ей заслоняла, у нее сразу пропадала охота смотреть на прилавок. Каролине вообще было неловко, все ее тяготило: и то, что ее мужу приходилось работать, и то, что на ней было платье с чужого плеча, и все знали, что это платье Аманиты, и, наконец, то, что в сумке у нее лежали какие-то гроши.

Каролина вдруг как бы со стороны услышала собственный голос:

— Вкус у него, конечно, неплохой.

— А у них у всех, таких, как он, вкус хороший, — сказала Аманита. — И за покупками ходить с ними интереснее, чем с женщинами. О тебе, конечно, не говорю.

— А почему у них такое художественное чутье?

— Они гораздо тоньше все воспринимают, дорогая моя. Они — как *мы с тобой*. Они *чувствуют*.

— А-а…

В дверях возник Зайка Викс. Он заскользил, словно пританцовывая, на гладких, чуть поскрипывающих, подошвах модных туфель. Зайка был худощав, ему можно было дать лет тридцать с лишним. Глаза у него были, как у всех богатых американских педерастов, — похожи на поддельные драгоценности и, словно стеклянные сапфиры при свете елочных лампочек, поблескивали из-под ресниц Зайка приходился правнуком знаменитому капитану Ганнибалу Виксу из Бедфорда, человеку, убившему в конце концов Моби Дика. Ходил слух, что, по крайней мере, семь из трех гарпунов, которые теперь покоились на стропилах у Зайки, были вытащены из туши Великого Белого Кита.

— Аманита! Аманита! — восторженно крикнул Зайка. Он схватил ее в объятия, крепко прижал к

себе. — Как ты, моя любимая?

Аманита рассмеялась.

— Тебе смешно?

— Мне? Ничуть!

— Я так надеялся, что ты сегодня придешь. Хочу испытать твою сообразительность.

Зайка хотел показать ей одну новую штучку, пусть догадается, что это такое. С Каролиной он даже не поздоровался, но сейчас она заслоняла ту часть прилавка, где, как он думал, стояла новая вещь, и поэтому он сказал:

— Ах, простите!

— Извините, пожалуйста! — И Каролина Розуотер отступила в сторонку. Зайка никогда не помнил, как ее зовут, хотя она побывала в *«Затоне»* раз пятьдесят не меньше.

Зайка не нашел то, что искал, скользнув дальше, и Каролина снова оказалась у него на пути:

— Ах, простите!

— Простите меня! — И уступая ему дорогу, Каролина споткнулась о старинную скамеечку для дойки коров, и, упав, ударилась коленом об эту скамейку, и схватилась обеими руками за столб.

— О боже! — раздраженно сказал Зайка. — Вы не ушиблись? Ничего не задето?

Каролина жалко улыбнулась.

— Только мое самолюбие!

— Шут с ним, с вашим самолюбием, душенька. — И голос его прозвучал совсем по-бабьи: — *Кости* целы? *Внутри* ничего не болит?

— Все прошло, спасибо…

Зайка повернулся к ней спиной и стад снова искать нужную вещь.

— Но ведь вы помните Каролину Розуотер? — сказала Аманита. Вопрос был явно ненужный, неприятный.

— Разумеется, я помню миссис Розуотер. Вы родственница сенатора?

— Вы всегда меня об этом спрашиваете.

— Неужели? И что же вы *всегда* мне отвечаете?

— Как будто мы родственники, только очень дальние — предки общие…

— Занятно. Вы знаете, он уходит в отставку.

— Вот как!

Зайка остановился перед ней. В руках у него была небольшая коробка.

— Неужто он вам не *сообщил*, что уходит в отставку?

— Нет… Он…

— Разве вы с ним не *общаетесь*?

— Нет, — сказала Каролина, грустно опустив голову.

— Мне кажется, с ним было бы чрезвычайно интересно *общаться*.

Каролина кивнула:

— Да…

— Но вы с ним никак не *общаетесь*?

— Нет…

— А теперь, дорогая моя, — начал Зайка, повернувшись к Аманите с коробочкой в руках, — сейчас мы проверим ваши умственные способности. — Он достал из коробки с надписью «Сделано в Мексике» жестянку без крышки. Снаружи и внутри жестянка была оклеена пестрой веселенькой бумагой. На дно снаружи была приклеена круглая кружевная салфетка, а на нее прикреплена искусственная водяная лилия.

— Ну-ка догадайтесь, что это за штучка? Зачем она? И если вы угадаете, — а стоит она семнадцать долларов, — я вам ее подарю, хотя и знаю, что вы чудовищно богатая дама!

— А *мне* можно попробовать? Вдруг я угадаю? — спросила Каролина.

Зайка прикрыл глаза.

— Разумеется, — сказал он усталым голосом.

Аманита сдалась сразу, гордо заявив, что она ничего не соображает и ненавидит всякие тесты. У Каролины заблестели глаза, она только-только

собиралась что-то прощебетать, прочирикать, как птичка, какую-то остроумную догадку, но Зайка не дал ей высказаться:

— Это футляр для запасного ролика туалетной бумаги!

— Я так и догадалась, хотела сказать… — проговорила Каролина.

— Неужели? — равнодушно сказал Зайка.

— Она у нас в университете училась, член клуба «Фи-Бета-Каппа».

— Неужели? — повторил Зайка.

— Да, — сказала Каролина. — Но я об этом редко говорю. Я и вспоминаю редко.

— Я тоже, — сказал Зайка.

— Вы тоже член Фи-Бета-Каппа клуба?

— Вам это обидно?

— Нет…

— По сравнению с другими клубами, — сказал Зайка, — в этом слишком много народу.

— Тебе нравится эта штучка, мой маленький гений? — спросила Аманита, вертя коробочку перед Каролиной.

— Да, да, конечно… Очень мило… Прелестная вещь.

— Хочешь взять?

— За *семнадцать* долларов? — сказала Кароли-

на. — Вещь очаровательная, но…

Она сразу погрустнела: неприятно быть нищей.

— Может быть, потом… когда-нибудь…

— А почему не сегодня? — спросила Аманита.

— Ты знаешь, почему. — Каролина густо покраснела.

— А если я тебе куплю?

— Не надо! Семнадцать долларов!

— Если ты не перестанешь огорчаться из-за денег, моя птичка, придется мне завести другую подругу.

— Что я могу тебе *сказать*?

— Зайка, сделайте, пожалуйста, подарочный пакет, — попросила Аманита.

— Ах, Аманита, спасибо тебе большое! — сказала Каролина.

— Ты и не такой подарок заслужила!

— Спасибо тебе!

— Каждый получает по заслугам! — сказала Аманита. — Верно я говорю, Зайка?

— Это основной закон жизни! — сказал Зайка Викс.

Мотобот «Мария» уже дошел до загонов и стал виден посетителям ресторана Зайки Викса.

— Брось травить, пора ловить! — крикнул Гар-

ри сыновьям, разлегшимся на носу бота.

Гарри заглушил мотор. Бот по инерции проскользнул через ворота загона в кольцо из шестов и свисавших с них сетей.

— Чуете? — сказал Гарри. Он спрашивал сыновей, чуют ли они запах рыбы, запутавшейся в сетях.

Те потянули носами, сказали, что, конечно, учуяли.

Широкое чрево сети, то ли пустое, то ли полное рыбы, лежало на дне. Край сети выходил из воды, перекидываясь от шеста к шесту как бы параболами. Край уходил под воду только в одном месте. Это и были ворота сети. Это и была та пасть, которая заглатывала всю рыбу, какая попадалась, направляя ее прямо в обширное чрево сети.

Теперь сам Гарри оказался внутри загона. Он отвязал верхний канат от крестовины возле ворот, выбрал слабину и снова привязал канат к крестовине. Теперь выход из мотни был навсегда закрыт — по крайней мере, для рыбы. Рыба в этом чреве была обречена.

«Мария» тихонько тыкалась боком в ограду западни. Гарри и его сыновья, выстроившись в ряд, перебирая стальными руками края сети, вытаскивали ее из воды, погружая в воду другой край.

Все втроем, перебирая сеть, перехватывали ее из рук в руки, и пространство, в котором оставалась рыба, становилось все меньше и меньше. И по мере того, как это пространство уменьшалось, *«Мария»* пробиралась поверху, бочком, все дальше внутрь загона.

Никто не сказал ни слова. Это было время великого таинства. Даже чайки умолкли, пока эти трое, отрешившись от всякой мысли, выбирали сеть из моря.

Все пространство, оставшееся для рыбы, сократилось до овальной лужицы. Казалось, что в глубине вспыхивают, сыплются дождем мелкие серебряные монетки. Мужчины продолжали свое дело, перебирая сеть.

Теперь единственное пространство, оставшееся для рыбы, превратилось в кривое, глубокое корыто у борта *«Марии»*. Оно становилось все мельче, а мужчины все тянули, перехватывая сеть из рук в руки. Рыба-кузовок, допотопное чудище, десятифунтовый головастик, усаженный шипами и бородавками, всплыла наверх, открыла свой утыканный игольчатыми зубами рот, сдаваясь на милость победителя. А вокруг этого безмозглого, несъедобного, одетого в панцирь страшилища вода вздувалась, кипела маленькими водоворо-

тами. Крупная добыча таилась внизу, во тьме.

Гарри и два его рослых сына снова принялись за работу, выбирая сеть и снова опуская. Для рыбы уже почти совсем не оставалось места. И, как ни странно, поверхность воды вдруг застыла как зеркало.

Внезапно плавник тунца распорол зеркальную гладь и снова скрылся!

Несколько мгновений спустя загон превратился в кромешный кровавый ад. Восемь крупных тунцов взбивали воду, она кипела, вздымалась волнами, расступалась, смыкалась. Тунцы стрелой неслись от *«Марии»*, натыкались на сеть, снова неслись назад.

Сыновья Гарри схватили свои багры. Младший сунул крюк под воду, всадил его рыбе в брюхо, повернул крюк, и рыба забилась в предсмертной агонии.

Рыба всплыла возле борта, оглушенная болью, боясь пошевельнуться, чтобы боль не стала еще острее.

Младший сын Гарри рванул багор на себя, да еще крутанул. Новая боль, куда страшнее прежней, заставила рыбу встать на хвост и с мягким упругим стуком перевалиться через борт *«Марии»*.

Гарри ударил рыбу по голове громадным молотом. Рыба больше не шелохнулась.

Следующая рыба тяжело ввалилась в лодку. Гарри и ее ударил по голове — так и глушил, одну за другой, пока восемь могучих рыб не легли рядом, мертвые.

Гарри захохотал, вытер нос рукавом. «Вот сукин сын, ребята! Сукин сын!»

Ребята тоже захохотали. Все трое были так довольны жизнью, что дальше некуда.

Младший парень показал нос всем снобам из ресторанчика.

— А пошли они все в ж...! Верно, ребята? — сказал Гарри.

Зайка подплыл к столику Аманиты и Каролины, позвенел браслетом, сковывающим его запястье, положил руку на плечо Аманиты, но к их столику не присел. Каролина отвела бинокль от глаз и проговорила подавленным шепотом:

— Ах, как это похоже на жизнь! Как Гарри Пина похож на бога!

— Он — бог? — удивился Зайка.

— Неужели вы меня не понимаете?

— Думаю, что вас поймут только рыбы. Но я не рыба. Могу вам объяснить, *кто* я такой!

— Только не за едой! — сказала Аманита.

Зайка коротко хихикнул, но продолжал, не обращая внимания:

— Ведь я — *директор банка*!

— Какое это имеет отношение к нашему разговору? — сказала Аманита.

— Директор банка знает, кто обанкротился, кто нет. И если этот рыбак кажется вам богом, то должен, к великому сожалению, открыть вам, что этот ваш бог — совершенный банкрот.

Тут Аманита и Каролина запротестовали, защебетали — каждая по-своему, уверяя, что такой крепкий мужчина не может потерпеть неудачу. Слушая их, Зайка все крепче сжимал плечо Аманиты, и она вдруг пожаловалась:

— Вы делаете мне больно!

— Простите. Не знал, что вы такая чувствительная!

— Негодник!

— Возможно, — согласился Зайка, но сжал плечо Аманиты еще крепче.

— Всем им давно пришел конец, — сказал он про Гарри и его сыновей. Он больно сжал плечо Аманиты, словно хотел сказать: «А сейчас помолчите-ка минутку, ведь я-то сейчас не шучу».

— Настоящие люди уже не зарабатывают на жизнь таким способом. Эти три романтика уста-

рели так же, как Мария Антуанетта, со своими фрейлинами, доившими коров. И когда против них возбудят дело о банкротстве, — через неделю, через месяц, через, год, — они поймут, что в экономическом отношении они никакой ценности не представляют, разве только как живые картинки для рекламы моего ресторана.

Надо отдать справедливость Зайке: он вовсе не злорадствовал по этому поводу:

— Теперь конец всякой кустарщине, люди, гнущие спину над работой вручную, никому больше не нужны.

— Но разве такие люди, как Гарри, не выходят всегда из всего победителями? — спросила Каролина.

— Именно они всегда проигрывают, — сказал Зайка. Он снял руку с плеча Аманиты. Он оглядел свой ресторан, кивком указал Аманите, сколько у него посетителей, как будто предлагая ей сосчитать их. Мало того — он словно просил их обеих — разделить его презрение к другим его клиентам. Почти все они были богатыми наследниками. Почти все жили на капиталы, накопленные не знаниями, не трудом, а добытые всякими махинациями и охраняемые законом. Четыре разжиревшие, тупые дуры, богатые вдовы

в мехах, гоготали над непристойной шуточкой на бумажной салфетке.

— Вот и глядите, кто победители, а кто побежден, — сказал Зайка.

Глава 11

Норман Мушари взял напрокат красную машину в аэропорту Провиденс и проехал восемнадцать миль до Писконтьюта — искать Фреда Розуотера. В конторе все считали, что он болеет и лежит дома в постели. Но на самом деле он чувствовал себя отлично.

Фреда он не мог найти весь день, по той причине, что Фред тихо спал на своей яхте — удовольствие, которому он любил тайком предаваться в жаркие дни. В жару делать было нечего — никто не покупал страховые полисы даже со скидкой для бедняков.

Фред брал маленькую шлюпку в яхтклубе и выходил в залив к своей яхте. *«Скрип-скрип»*, — пели весла, борта шлюпки всего дюйма на три высились над водой, — и плыл туда, где стоял на якоре его «Бутон-2». Он тяжело плюхался на корму, где его никому не было видно, клал под голову оранжевый спасательный жилет и, слушая плеск волн, скрип и позвякивание снастей, засовывал руку меж колен и, чувствуя себя в царстве небесном, погружался в сладкий детский сон. Тут ему было хорошо.

У Бантлайнов служила в горничных молодая девушка по имени Селина Дейл, знавшая тайну Фреда. Оконце ее комнаты выходило на залив. Когда она, как сейчас, сидела на узкой своей кровати и писала, в окне, как в рамке, виднелся «Бутон-2». Она оставила дверь открытой, чтобы слышать телефонные звонки. Это и была ее обязанность во второй половине дня — отвечать на телефонные звонки. Правда, звонили редко, и Селина спрашивала себя: «А зачем людям сюда звонить?»

Селине было восемнадцать лет. Она рано осиротела, и ее взяли на службу из сиротского приюта, основанного семейством Бантлайн в 1878 году, в городе Потакете. Основывая этот приют, Бантлайны поставили три условия: во-первых, всех детей положено было воспитывать в духе учения Христова, независимо от их расы, цвета кожи, религиозной принадлежности. Во-вторых, воспитанники должны были еженедельно перед воскресным ужином произносить слова обета, и, в-третьих, каждый год в семейство Бантлайнов полагалось присылать из приюта на какое-то время умненькую, чистоплотную девушку-сиротку на должность горничной, «…дабы ознакомить ее с более достойным образом жизни и, быть мо-

жет, внушить желание подняться на несколько ступеней выше в овладении некоторыми тонкостями хорошего воспитания и культурного обращения».

Тот обет, который Селина повторила шестьсот раз перед тем, как вкусить шестьсот весьма скудных воскресных ужинов, был сочинен Кастором Бантлайном, прапрадедушкой несчастного Стюарта Бантлайна:

> «Торжественно клянусь, что всегда буду уважать собственность других людей и довольствоваться своим уделом, предначертанным мне в жизни милостью господней. Я всегда буду испытывать чувство благодарности к своим хозяевам, никогда не стану жаловаться ни на положенную мне плату, ни на лишнюю работу, но постоянно буду вопрошать себя: „Что еще могу я сделать для своих хозяев, для своей Республики и для господа бога? Я понимаю, что рождены мы на этой земле не для счастья, мы рождены для испытания. И если я хочу пройти это испытание, то мне надлежит всегда быть человеком бескорыстным, всегда трез-

вым, всегда правдивым, всегда чистым душой, телом и всеми своими деяниями, и всегда преисполненным уважения к тем, кого Создатель, в неизреченной своей мудрости, поставил надо мной. Если я выдержу это испытание, то после смерти причащусь жизни вечной, райского блаженства. Если же не выдержу, то буду вечно гореть в адском пламени, и Дьявол будет ликовать, а Христос скорбеть надо мной“».

Селина, прехорошенькая девушка, прекрасно игравшая на рояле и мечтавшая стать медицинской сестрой, сейчас писала письмо директору сиротского приюта Уилфреду Парроту. Ему было шестьдесят лет. Жизнь он провел интересную, разнообразную — сражался в Испании, в батальоне имени Линкольна, и с 1933 по 1936 год писал для радио серию передач под названием «За синим горизонтом». В сиротском приюте детям жилось прекрасно. Все ребята называли Паррота «папочка», все умели хорошо готовить, играть на каком-нибудь инструменте, танцевать и рисовать.

Селина пробыла у Бантлайнов уже месяц. Ей полагалось прослужить целый год. Вот что она

писала своему директору:

«Дорогой папочка Паррот, может быть, тут все станет лучше, но пока я этого не вижу. Мы с миссис Бантлайн никак не поладим. Она все время называет меня неблагодарной и заносчивой. Может быть, это и правда, хотя я вовсе не хочу так себя вести. Главное, чтобы она не повредила нашему дому, из-за того что злится на меня. Это меня тревожит сильнее всего. Видно, надо мне еще больше стараться выполнять наш обет. Самое плохое, что она все время видит что-то по моим глазам. А у меня по глазам все видно, хотя я и стараюсь не показывать. Она скажет что-нибудь, сделает какую-нибудь глупость или еще что, и я, конечно, промолчу, а она посмотрит мне в глаза и начинает страшно злиться. Как-то она мне говорит, что после мужа и дочки она больше всего на свете любит музыку. У них тут по всему дому расставлены динамики. И все они соединены с огромным проигрывателем в шкафу, в передней. Целый день тут гремит музыка, и миссис

Бантлайн говорит, что она ужасно любит с утра выбрать какую-нибудь музыкальную программу и вставить пластинки в проигрыватель, где они сами сменяются. Сегодня с утра еще всех репродукторов гремела музыка, но я никогда еще такой музыки не слыхала. Было совсем непохоже на музыку, звук был такой высокий, такой быстрый, такой пронзительный, а миссис Бантлайн еще все время подпевала и качала в такт головой, видно, хотела показать, как ей это нравится. Я просто сходила с ума. А тут еще пришла ее лучшая подруга, ее зовут миссис Розуотер, и тоже начала говорить, какая чудная музыка. Она сказала, что пусть только ей повезет в жизни, и она тоже заведет у себя такую музыку. И тут я не выдержала и спросила миссис Бантлайн, что это за музыка. „Как, дитя мое, – сказала она, – да ведь это же сам бессмертный Бетховен!“ – „Как Бетховен?“ – сказала я. „А ты когда-нибудь про него слышала?“ – говорит она. „Да, мэм, слышала, конечно, – говорю я, – наш папочка Паррот все время играл нам Бетховена у нас, в доме, только звучал он

как-то по-другому…“ И тут она подвела меня к проигрывателю и сказала:„ Вот я сейчас тебе докажу, что это Бетховен! Я поставила в проигрыватель именно Бетховена и ничего, кроме Бетховена, я туда не ставила. Со мной так бывает – хочу слушать только Бетховена!“

И тут миссис Розуотер говорит: „Я тоже обожаю Бетховена!“ А миссис Бантлайн вынимает все пластинки и говорит мне: „Посмотри, Бетховен это или нет“. Я посмотрела – действительно Бетховен. Она вложила в проигрыватель все девять симфоний, но эта несчастная женщина поставила скорость семьдесят восемь оборотов в минуту, вместо тридцати трех! И никакой разницы не почувствовала. Надо было мне сказать ей или нет? И я сказала ей очень вежливо, но, наверно, по моим глазам она что-то заметила, и страшно разозлилась, и тут же послала меня мыть шоферскую уборную при гараже. Но оказалось, что работа вовсе не такая грязная. У них нет шофера уже много лет.

В другой раз, папочка, она взяла меня с собой на моторную яхту мистера Бант-

лайна – смотреть парусные гонки. Я сама попросила ее захватить меня с собой. Я сказала, что в Писконтьюте только и разговору, что об этих парусных гонках. И еще сказала, что мне хотелось бы посмотреть, действительно ли это так интересно, В этот день в гонках участвовала их дочка, Лайла. Она – самая лучшая яхтсменка в городе. Вы бы посмотрели, сколько кубков она выиграла. Они расставлены по всему дому. Хороших картин тут у них нет. У одного из соседей есть подлинный Пикассо, но я сама слышала, как этот сосед сказал, что лучше бы у него вместо этого Пикассо была такая дочка, как Лайла, которая умела бы так здорово управлять яхтой. Я подумала, не все ли ему равно, но вслух ничего не сказала. Поверьте мне, папочка, я тут у них не говорю и половины того, что думаю. Словом, отправились мы смотреть эти гонки – и вы бы послушали, как миссис Бантлайн орала и бранилась. Помните, какие слова говорил Артур Гонсалес? А миссис Бантлайн и не такие слова кричала, Артур, наверное, таких никогда и не

слыхал. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы дама так выходила из себя и так злилась. Про меня она и забыла. Она была похожа на ведьму, искусанную бешеной собакой. Можно было подумать, что судьба всего мира зависит от этих загорелых детей на красивых белых яхточках. Вдруг она. вспомнила, что я все слышу и что не стоило при мне кричать всякие гадкие слова.

– Постарайся понять, почему мы все так волнуемся, – сказала она. – Ведь Лайла вот-вот может выиграть „Кубок Командира“.

– О, – сказала я. – Теперь мне все понятно, – честное слово, папочка, больше я ничего не говорила, но по глазам, наверное, было что-то заметно.

Главное, что меня поражает в этих людях, – это вовсе не то, что они такие невежественные или такие алкоголики. Удивительней всего, что они думают, будто все на свете – подарок бедным людям от них или от их предков. В первый день моего приезда миссис Бантлайн провела меня на боковую террасу, посмотреть

закат. Я посмотрела и сказала, что мне очень нравится, но она ждала, что я должна что-то ей сказать. Но я никак не могла придумать, что мне еще полагается говорить, и я сказала довольно глупую фразу: „Спасибо вам за это“. Оказалось, что она именно этого и ждала. „Пожалуйста!“ – сказала она. После этого я уже благодарила ее за океан, за луну, за звезды в небе и даже за Конституцию Соединенных Штатов.

Может быть, я очень нехорошая и глупая и потому не понимаю, как можно жить в этом Писконтьюте. Может быть, я просто та свинья, перед которой нечего „метать бисер“, но мне никак не понять, почему так выходит. Я хочу домой. Пишите мне поскорее. Я вас очень люблю.

Селина.

P. S. Кто же на самом деле правит этой безумной страной? Уж конечно, не эти ничтожества».

Чтобы скоротать время, Норман Мушари съездил в Нью-порт и заплатил двадцать пять центов за осмотр знаменитого поместья Рэмфордов. Как

ни странно, владельцы этого поместья до сих пор жили в своем особняке и любили глазеть на посетителей. Публику, конечно, пускали не ради каких-то денег.

Мушари очень обиделся, когда один из Рэмфордов, огромный малый, ростом в два метра с лишним, заржал прямо ему в лицо. Он тут же пожаловался дворецкому, проводившему экскурсию:

— Уж если им так не нравятся посетители, зачем они их пускают, да еще деньги берут?

Но никакого сочувствия у дворецкого Мушари не встретил: тот терпеливо и сухо разъяснил, что такие осмотры разрешаются лишь раз в пять лет, всего на один день. Так гласило завещание, составленное три поколения тому назад.

— А почему в завещание был включен такой пункт?

— Такова была воля первого владельца поместья, он считал, что его наследникам, живущим в этих стенах, небесполезно будет хотя бы изредка, глядя на случайно попавших к ним извне людей, ознакомиться с представителями других кругов. — Дворецкий оглядел Мушари сверху вниз: — Так сказать, через них ознакомиться с современностью. Вы меня поняли?

Когда Мушари выходил из особняка, Лэнс Рэмфорд увязался за ним. Глядя с высоты своего роста на низенького Мушари, он объяснил притворно ласковым голосом, что его мамаша считает себя великим знатоком человеческих типов и предполагает, что Мушари когда-то служил в американской пехоте.

— Нет.

— Не может быть! Она так редко ошибается. Она даже подчеркнула, что вы были снайпером.

— Нет, нет!

Лэнс пожал плечами.

— Значит, не в этой жизни, а в прошлом воплощении! — сказал он и опять заржал.

Сыновья самоубийц часто думают — не покончить ли им с собой, особенно к вечеру, когда в их крови падает содержание сахаристых веществ.

Так было и с Фредом Розуотером, когда он возвратился домой после работы. Он чуть не упал, споткнувшись о пылесос у входа в гостиную, отскочил, чтобы восстановить равновесие, ударился ногой о столик, опрокинул вазочку с мятными конфетами. Опустившись на колени, он стал подбирать рассыпанные леденцы.

Он понял, что жена дома, потому что проигрыватель, который Аманита подарила ей ко дню

рождения, гремел вовсю. У Каролины было всего-навсего пять пластинок, и она все их зарядила в проигрыватель. Пять пластинок можно было получить бесплатно при вступлении в Клуб любителей грамзаписи. Она измучилась вконец, пока не остановилась на пяти из ста пластинок. В конце концов она выбрала песенку Фрэнка Синатры *«Танцуй со мной»*, *«Господь — великий наш оплот и другие религиозные гимны»* в исполнении хора Мормонской капеллы, *«Далеко до Типперэри и другие песни»* в исполнении хора и оркестра Советской Армии, *«Симфонию Нового Света»* — дирижер Леонард Бернстайн и наконец «Стихи *Дилана Томаса*» — читает Ричард Бертон.

Голос Бертона гремел вовсю, пока Фред подбирал рассыпанные конфетки.

Фред поднялся с полу, пошатнулся. В ушах звенело. Перед глазами плыли пятна. Он поплелся в спальню — Каролина спала не раздевшись. Она была совсем пьяна и к тому же, как всегда, завтракая с Аманитой, объелась цыпленком под майонезом.

Фред вышел на цыпочках из спальни, подумав, не повеситься ли ему в подвале, на водопроводной трубе?

Но тут он вспомнил о сыне. Он слышал шум

воды в уборной — значит маленький Франклин дома. Он прошел в комнату сына и стал его ждать. Только в одной этой комнатке Фред чувствовал себя спокойно. Шторы на окне были, как ни странно, спущены, хотя солнце уже зашло, а никаких любопытных соседей поблизости не было, свет в комнате только и шел от причудливой лампы на ночном столике. Лампа была сделана в виде гипсовой фигурки кузнеца с поднятым молотом. За кузнецом находился квадрат матового стекла оранжевого цвета. За стеклом помещалась электрическая лампочка, а над лампочкой — маленький жестяной вентилятор. Когда лампочка нагревалась, от нее поднимался горячий воздух, и вентилятор начинал крутиться. От блестящей поверхности вентилятора на оранжевое стекло падали беглые блики — казалось, что за этим стеклом горит настоящий огонь.

Про эту лампу рассказывали целую историю. Тридцать три года тому назад мастерская, изготовлявшая такие лампы, была последним предприятием покойного отца Фреда.

Фред подумал — не наглотаться ли ему снотворного, но снова вспомнил о сыне. При жутковатом миганье лампы он оглядел комнату, ища, о чем бы ему поговорить с мальчиком и увидел тор-

чащий из-под подушки край фотоснимка. Фред вытащил фото, думая, что это, наверное, фото какого-нибудь знаменитого спортсмена, а может, и его, Фреда, фото, у руля их яхты *«Бутон-2»*.

Но оказалось, что это — порнографическая картинка, которую маленький Франклин купил утром у Лайлы Бантлайн на свои честно заработанные деньги — он разносил газеты. На картинке были изображены две толстые, жеманные голые шлюхи, причем одна из них пыталась каким-то немыслимым образом войти в интимные отношения с очень солидным, полным достоинства и очень серьезным шотландским пони.

Фреду стало тошно, стыдно. Он сунул картинку в карман, прошлепал на кухню, думая: «Господи, ну что же сказать мальчику?»

Кстати о кухне: электрический стул там был бы вполне уместен. Очевидно, Каролина именно так представляла себе камеру пыток. Там стоял фикус. Он умирал от жажды. В мыльнице над раковиной лежал раскисший ком, слепленный из разноцветных обмылков. Лепить мыльные шары из обмылков было единственным достижением Каролины в искусстве домоводства, которое она и внесла в их совместную жизнь. Этому искусству ее обучила мать.

Фред подумал — не налить ли в ванну горячей воды, забраться туда и перерезать себе вены нержавеющей бритвой. Но тут он увидел, что мусорное пластиковое ведерко в углу доверху полно, вспомнил, какие истерики Каролина закатывает с похмелья, после перепоя, увидев, что никто не вынес мусор. Пришлось вынести ведерко к гаражу, выкинуть мусор и вымыть ведро под шлангом около дома.

— Фррр-шррр-бррл-брылл, — булькала вода в ведерке. Тут Фред заметил, что кто-то оставил свет в подвале. Он поглядел со ступенек сквозь запыленное окошко, увидел верх шкафа, где хранились запасы. На нем лежала рукопись его отца — их семейная хроника, которую Фред никогда и не собирался читать. На рукописи стояла жестянка с крысиным ядом и лежал револьвер тридцать восьмого калибра, изъеденный ржавчиной.

Натюрмортик был весьма интересный. Но тут Фред увидал, что это не натюрморт, а живая картина. Маленький мышонок грыз угол рукописи.

Фред постучал в окошко. Мышонок замер, оглянулся по сторонам и снова принялся грызть манускрипт.

Фред спустился в подвал, снял рукопись со шкафа, хотел взглянуть, не слишком ли она

обгрызена, сдул пыль с титульного листа, на котором стоял заголовок, гласивший:

**«МЭРРИХЬЮ
РОЗУОТЕР. ИСТОРИЯ СЕМЕЙСТВА РОЗУОТЕРОВ С РОД-АЙЛЕНДА».**

Фред развязал шнур, стягивающий рукопись, и стал читать с первой страницы, которая начиналась так:

> «Родиной Розуотеров в Старом свете всегда был Корнуолл, точнее Силлийские острова. Основатель рода, по имени Джон, прибыл на остров Пресвятой Девы в 1645 году, в свите пятнадцатилетнего принца Карла, ставшего впоследствии королем Карлом Вторым, в ту пору скрывавшимся от восстания, поднятого пуританами.
>
> Фамилия „Розуотер“ вымышлена. До того, как Джон назвался этим именем, никаких Розуотеров в Англии не существовало. Настоящее его имя Джон Грэхем. Он был младшим из пяти сыновей Джеймса Грэхема, пятого герцога и первого маркиза Монтроза. Сыну Джеймса Грэхема пришлось скрыться под псев-

донимом, так как сам Джеймс являлся вождем роялистов, чье дело было проиграно. За Джеймсом числится множество романтических приключений, например, однажды он, переодевшись простым шотландцем, отправился в Горную Шотландию и там собрал небольшой, но свирепый отряд и одержал победу в шести кровавых схватках над превосходящими силами противника – то есть над пресвитерианцами, коими командовал Арчибальд Кэмпбелл, восьмой герцог Аргайльский. Кроме всего прочего, Джеймс был поэтом.

Из вышесказанного следует, что в каждом Розуотере течет благородная кровь шотландской знати и что их настоящее имя не Розуотер, а Грэхем. Джеймс был повешен в 1650 году».

Бедный старый Фред просто глазам не верил — неужто он происходит от таких славных предков? Кстати, на нем были носки «аргайлки» шотландской шерсти, и он даже поддернул штаны, чтобы взглянуть на эти носки. Теперь имя «Аргайль» приобрело для него совершенно новый смысл. Да, сказал он себе, один из моих предков победил

Аргайля шесть раз подряд. Тут Фред заметил, что стукнулся тогда ногой о столик гораздо сильнее, чем ему казалось, и сейчас кровь из ссадины капала на его аргайльские носки.

Он стал читать дальше:

> «Джону Грэхему, принявшему имя Джона Розуотера, очевидно, пришлась по душе жизнь на Силлийских островах, их мягкий климат и его новое имя, ибо он остался там навсегда и стал отцом семерых сыновей и шести дочерей. Он тоже, как говорили, был поэтом, хотя его произведения до нас не дошли. Возможно, что, ознакомившись с его стихами, мы поняли бы то, что осталось для нас тайной, а именно: почему потомок знатного рода отказался от своего благородного имени и от всех привилегий, сопряженных с таким званием, и довольствовался жизнью простого фермера на острове, вдали от тех мест, где сосредоточены и власть и богатство. Могу лишь высказать догадку, которая так и останется догадкой: очевидно, ему претили все кровавые дела, в коих он участвовал, сражаясь вместе

со своим братом. Во всяком случае, никаких попыток рассказать о себе своему семейству он не предпринимал, и, даже когда была восстановлена королевская власть, он не открыл никому, что он из рода Грэхемов. В хронике семьи Грэхемов о нем сказано, что он, очевидно, пропал без вести в морском бою, защищая своего принца…»

Фред услышал, как Каролину рвало в ванной.

«Род-айлендские Розуотеры – прямые потомки Фредерика, сына Джона. О Фредерике нам известно только то, что у него был сын по имени Джордж, который первым уехал с островов. Он отправился в Лондон и стал садоводом. У Джорджа было два сына, и младший из них, Джон, в 1731 году был посажен в долговую тюрьму. В 1732 году его освободил некий Джеймс Огглторп, заплативший за него все долги, при условии, что Джон будет сопровождать его, Огглторпа, в экспедицию в штат Джорджия. В этом штате Джон должен был стать главным садоводом экспедиции и посадить шелковичные

деревья для разведения шелкопрядов. Джон Розуотер стал там же главным архитектором экспедиции, и по его плану был заложен город, впоследствии названный Саванной. В 1742 году Джон был смертельно ранен в бою с испанцами на Кровавом Болоте».

Рассказ о подвигах и мужестве предков так окрылил Фреда, что он решил немедленно сообщить об этом своей супруге. Но он и не подумал взять священную книгу и показать ее жене. Нет, книгу нельзя было выносить из подвала, жене надлежало самой спуститься в священный подвал.

И Фред сдернул, одеяло с Каролины, может быть, впервые за всю их супружескую жизнь отважившись на такой смелый, такой истинно мужской поступок. Он заявил, что его настоящая фамилия — Грэхем, что один из его предков спроектировал город Саванну и что она немедленно должна сойти с ним в подвал.

Спотыкаясь спросонья, Каролина сошла с лестницы за Фредом, и он, открыв перед ней манускрипт, вкратце изложил всю историю род-айлендских Розуотеров, вплоть до их участия в битвах с испанцами.

— Хочу тебе сказать, — добавил Фред, — что мы — не безродные ничтожества. Мне надоело, мне просто осточертело делать вид перед всеми, что мы — никто.

— Никогда я не делала вид, что мы — *никто*.

— Да ты всем внушала, что я ничтожество. — Эти слова невольно вырвались у Фреда, и оба они удивились — так точно определил он ее отношение к нему. — Ты знаешь, о чем я говорю, — добавил Фред. Он заговорил путано и торопливо, потому что ведь он не привык касаться таких важных, таких значительных и важных вопросов.

— Эти твои воображалы, ублюдки несчастные. Думаешь, лучше их никого на свете нет, по-твоему, они лучше нас, лучше *меня*! Посмотрел бы я, какая у них родословная, можно ли сравнить их предков с моими. Мне всегда казалось, что глупо хвастать своей родословной, но даю тебе честное слово — пусть только они захотят со мной потягаться, я им с удовольствием все покажу — пускай попробуют сравнить!!! И вообще хватит вечно извиняться! Другие говорят «здравствуйте!» или «до свидания», а мы только и знаем, что бормотать «простите, пожалуйста!» — все равно, приходим или уходим. — Фред широко развел

руки: — Хватит извиняться! Да, мы бедные! Ну и пусть, бедные так бедные! Мы — американцы! А именно в Америке, как нигде, *стыдно* извиняться за то, что ты бедный. В Америке надо первым делом спрашивать: «А он — верный гражданин, этот человек? Он честный малый? Он твердо стоит на своих ногах?»

Фред угрожающе поднял толстый фолиант над головой бедной Каролины.

— Род-айлендские Розуотеры были в прошлом людьми творческими, активными и всегда будут такими, — объявил он. — У кого-то из них деньги были, у других нет, но клянусь тебе, что все они сыграли свою роль в истории! Хватит вечно извиняться!

Фред явно убедил Каролину. Да и нельзя было не поддаться его страстным увереньям. Она совсем ошалела, с испугом и уважением слушая Фреда.

— Ты знаешь, какая надпись высечена над входом в вашингтонский архив?

— Нет, — призналась она.

— «Прошлое — пролог!»

— А-а…

— Вот так, — сказал Фред. — А теперь давай вместе просчитаем историю рода Розуотеров,

давай вместе попробуем хоть немного укрепить нашу семью, будем больше уважать друг друга, доверять друг другу.

Она молча кивнула.

Повествованием об участии Джона Розуотера в битве с испанцами кончалась вторая страница манускрипта. И Фред Розуотер осторожно взял двумя пальцами за уголок эту страницу и театральным жестом отвернул ее в ожидании дальнейших откровений.

Перед ним открылась огромная дыра. Термиты сожрали всю историю рода. Они так и кишели в рукописи, синевато-белесые, противные, и догрызали последние страницы.

Когда Каролина, содрогаясь от гадливости, прошлепала к выходу из подвала, Фред спокойно решил, что теперь ему на *самом деле* пора умереть.

Фред отлично умел делать любую петлю даже вслепую и, схватив веревку для белья, завязал ее как надо. Он влез на табуретку, закрепил веревку на водопроводной трубе и попробовал, крепка ли петля.

Он уже стал надевать ее на шею, когда послышался голос маленького Франклина, крикнувшего, что к отцу пришел какой-то человек. А этот

человек, Норман Мушари, уже сам, незваный, спускался по лестнице в подвал, таща под мышкой туго набитый полуразинутый портфель.

Фред еле успел соскочить с табуретки; посетитель чуть не застал его врасплох в тот момент, когда он собирался покончить с собой.

— Мистер Розуотер?

— Я…

— Сэр, в эту минуту, сейчас, ваши родственники в Индиане грабят вас и вашу семью, отнимают у вас ваше законное наследство, миллионы долларов. Я приехал, чтобы подсказать вам, как вы сможете выиграть в суде, чрезвычайно просто и сравнительно без особых затрат, и вернуть себе эти миллионы.

Фред упал в обморок.

Глава 12

Два дня спустя Элиоту уже пора было сесть в автобус «Борзой» на остановке у закусочной и поехать в Индианаполис, где в гостинице, в апартаментах «Синяя птица» была назначена встреча с Сильвией. Стоял полдень. Элиот все еще спал. До поздней ночи ему не давали уснуть не только телефонные звонки, люди шли и шли, не считаясь со временем, чуть ли не все посетители приходили пьяные вдрызг. Весь город Розуотер был в панике. Сколько бы Элиот не уговаривал своих клиентов, они все считали, что он бросает их навсегда.

Элиот очистил свой стол от хлама. Он разложил на нем новый синий костюм, новую белую рубашку, новый синий галстук, новую пару черных нейлоновых носков, новые спортивные шорты, новую зубную щетку и флакон «Лавориса». Зубную щетку он употребил всего лишь раз. Она до крови ободрала ему десны.

На дворе залаяли собаки. Они подбежали к пожарному депо, приветствуя своего любимца — всем известного пропойцу Делберта Пича. Они ластились к нему, явно одобряя его попытку сбро-

сить с себя человеческий облик и стать собакой.

— Кыш! Кыш! — неуверенно бормотал он. — Я же не в охоте… черт вас дери!

Он ввалился с улицы в контору Элиота, захлопнул входную дверь перед мордами своих лучших друзей и с песней стал подниматься наверх к Элиоту. Вот что он пел:

Подлечил одну заразу,

Подцепил другую сразу.

Весь обросший щетиной, вонючий, подымался Делберт Пич по лестнице, так медленно, что песни хватило лишь до полпути. Он затянул американский национальный гимн и все еще бормотал про звездно-полосатый флаг, когда влез наконец, отдуваясь и пыхтя, в контору Элиота.

— Мистер Розуотер, мистер Розуотер! — Но Элиот зарылся под одеяло с головой, и сон его был очень крепок, да еще его руки судорожно сжимали край одеяла. Но Пичу так хотелось лицезреть любимые черты, что он ухитрился разжать сильные кулаки Элиота.

— Мистер Розуотер, вы живы? Мистер Розуотер, вы не заболели?

Лицо Элиота перекосилось от напряженной борьбы за одеяло.

— Что? Что? Что такое? — Элиот открыл глаза.

— Слава богу, а то мне померещилось, будто вы померли!

— Нет, как видно, я бы заметил, если б помер.

— Мне приснилось, что ангелы слетели с неба, подхватили вас и унесли прямо в рай, да и посадили рядышком со Спасителем нашим, Иисусом Христом.

— Нет, — сонно сказал Элиот. — Ничего такого не было.

— Будет когда-нибудь, будет обязательно. И вы оттуда услышите, как стенает и плачет по вас весь наш город.

Элиот надеялся, что ни стенаний, ни плача он оттуда не услышит, но промолчал.

— Но хоть вы и не померли, мистер Розуотер, но я-то знаю, что вы к нам больше никогда не вернетесь. Только попадете в Индианаполис, где столько света, столько веселья и красивых домов, опять попробуете сладкую жизнь, и вам еще больше захочется опять так пожить, да это и понятно, вы же и раньше хорошо жили, знаете в этом толк, и не успеешь оглянуться, как вы вернетесь в Нью-Йорк и уж там сладко заживете — лучше не бывает. Да и почему бы вам и не пожить всласть?

— Мистер Пич, — Элиот протер глаза. — Если я вдруг окажусь в Нью-Йорке и снова заживу такой сладкой жизнью, какой свет не видал, знаете, что со мной будет? Выйду я на берег к большой воде, меня сразу как громом ударит, и я бухнусь в воду, а там меня проглотит кит, и поплывет он в Мексиканский залив, а оттуда вверх по Миссисипи, вверх по Огайо, а оттуда по Белой, потом по Затерянной речке, прямо в Розуотеровский канал. И поплывет мой кит по Розуотеровскому судоходному каналу, прямо к этому городу, и изрыгнет меня из чрева китова прямо в Парфенон. Вот я и окажусь здесь снова!

— Что ж, вернетесь вы сюда, мистер Розуотер, или нет, я вам хочу преподнести подарок на дорогу; сейчас сообщу вам одну хорошую новость.

— Что же это за новость, мистер Пич?

— Ровно десять минут тому назад я дал зарок — спиртного никогда в рот не брать. Это вам мой подарок.

Тут зазвонил красный телефон. Элиот схватил трубку — это был телефон пожарной тревоги.

— Алло! Алло! — крикнул он, сжав левую руку в кулак, и выставил средний палец. Ничего плохого в этом жесте не было — он просто приготовился

нажать кнопку, которая приводила в действие сирену, громкую, как труба Судного дня.

— Мистер Розуотер? — Голос был женский, очень кокетливый.

— Да, да! Где горит?

— Мое сердце горит, мистер Розуотер!

Элиот взбесился — и это никого не удивило бы. Все знали, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь баловался с пожарным телефоном. Это было единственное, что он люто ненавидел. Голос он узнал сразу: звонила Мэри Моди, потаскушка, чьих близнецов он только вчера крестил. Ее подозревали во многих поджогах, судили за мелкие кражи и за проституцию — пять долларов с гостя. Элиот стал крыть ее вовсю за то, что она посмела позвонить по красному телефону:

– *Черт бы тебя побрал*, как ты смеешь звонить по этому номеру! Тебе в тюрьме место, гнить там весь век! Всех вас, идиотов, сукиных детей, кто смеет шутить с пожарным телефоном, швырнуть бы в ад, жарить там на сковородке до второго пришествия!

И он грохнул трубку на место.

Через несколько секунд зазвонил черный телефон.

— Фонд Розуотера слушает, — ласково сказал

Элиот. — Чем могу вам помочь?

— Мистер Розуотер, это опять я, Мэри Моди… — Она захлебывалась от слез.

— Что случилось, дорогая моя? — Элиот честно не понимал, в чем дело. Он готов был на месте убить каждого, кто заставил бедняжку так горько плакать.

Шофер остановил черный «крайслер-империал» у дверей Элиота и открыл дверцу машины. Морщась от боли в суставах, оттуда вышел сенатор от штата Индиана Листер Эймс Розуотер. Тут его, конечно, не ждали.

Он кряхтя поднялся по лестнице. В прошлые времена ему подыматься было куда легче. Он невероятно состарился, да еще хотел показать, как невероятно он состарился. И сейчас он вел себя так, как никто из посетителей Элиота себя не вел: он постучал, спросил, можно ли войти, не помешает ли он. Элиот, все еще в длинных, очень несвежих армейских кальсонах, торопливо встал навстречу отцу и обнял его:

— Отец, отец, отец, вот неожиданная радость!

— Нелегко мне было приехать к тебе…

— Надеюсь, ты не думал, что я тебе не обрадуюсь?

— Противно видеть, какой тут хаос.

— Но тут куда чище, чем неделю назад.

— Неужели?

— Да, мы на прошлой неделе устроили генеральную уборку!

Сенатор скривил рот, отшвырнул носком башмака пустую жестянку из-под пива:

— Надеюсь, не ради меня. Зачем тебе бояться холерной эпидемии только оттого, что я ее боюсь? — Голос сенатора уже звучал спокойнее.

— Кажется, ты знаешь Долберта Пича?

— Я *о нем* знаю. — Сенатор кивнул Пичу: — Здравствуйте, мистер Пич. Разумеется, я знаю о ваших военных подвигах. Дважды дезертировали, не так ли? А может быть, трижды?

Пич совсем помрачнел, сильно струхнув от присутствия столь величественного гостя, и пробормотал, что он никогда в армии не служил.

— Ага, значит, я принял вас за вашего папашу. Прошу прощения. Трудно определить возраст человека, если он моется и бреется так редко.

Пич промолчал, подтвердив тем самым, что именно его отец и дезертировал из армии три раза.

— Может быть, нас оставят наедине хоть ненадолго, — сказал сенатор Элиоту, — или это будет противоречить твоим представлениям о том,

какими дружескими и открытыми должны быть отношения в нашем обществе?

— Ухожу, ухожу, — сказал Пич. — Чувствую, что я тут лишний.

— Уверен, что вам не раз приходилось испытывать это чувство, — сказал сенатор.

Пич, уже прошаркавший до дверей, остановился, услышав эти обидные слова, сам удивился, что сообразил, как это обидно:

— Как вы можете так оскорблять людей, простых людей, ведь вы от них зависите — подадут они за вас голос или нет, нехорошо, сенатор.

— Как закоренелый пьяница, мистер Пич, вы должны отлично знать, что пьяных к избирательным урнам не допускают.

— А я голосовал, — сказал Пич. Ложь была слишком явной.

— Если так, то вы, наверное, голосовали за меня. Тут большинство за меня голосует, хотя я никогда не подлизывался к жителям штата Индиана, даже во время войны. А знаете почему? Потому что в каждом американце, даже самом пропащем, сидит задубелый, простецкий малый, вроде меня, который ненавидит всяких подонков еще больше, чем я.

— Право, отец, я и не надеялся тебя увидать.

Такая неожиданная радость. И выглядишь ты прекрасно.

— А чувствую себя прескверно. И новости у меня прескверные, особенно для тебя. Решил лично тебе сообщить.

Элиот слегка нахмурился:

— А когда у тебя действовал желудок?

— Не твое дело.

— Прости.

— Я к тебе приехал не за слабительным. Кое-кто считает, что у меня хронический запор с того самого дня, как объявили, что проект восстановления национальной экономики противоречит нашей конституции. Но я не потому здесь.

— Ты сказал, что чувствуешь себя *прескверно*.

— Ну и что?

— Обычно, когда ко мне приходят и жалуются на скверное самочувствие, девять из десяти жалобщиков страдают от запора.

— Погоди, вот я тебе все расскажу, мой мальчик, тогда посмотрим, поможет тебе пурген или нет. Один адвокатишка, работающий в конторе Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги, которому был открыт доступ ко всем документам, теперь уволился оттуда. Он нанялся к род-айлендским Розуотерам. Они собираются подать на тебя в суд.

Они хотят объявить тебя невменяемым.

На столе у Элиота зазвонил будильник. Элиот взял часы и подошел с ними к красной кнопке на стене. Он напряженно смотрел на секундную стрелку, его губы беззвучно отсчитывали секунды. Он нацелил средний палец левой руки и вдруг ткнул им в кнопку, пустив в ход самую громкую сирену на всем Восточном полушарии.

От жуткого воя сирены сенатор, заткнув уши, отскочил в угол и прижался к стене. В семи милях от Розуотера, в Новой Амброзии, какой-то пес завертелся волчком, кусая собственный хвост. Случайный проезжий в закусочной опрокинул кофе на себя, забрызгав бармена, а в «Салоне красоты у Беллы», у самой хозяйки, трехсотфунтовой Беллы, чуть не случился инфаркт. Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую, устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Уормерграма, державшего страховую контору рядом с пожарным депо:

— Ага, сбросило Чарли с его секретарши!

Элиот снял палец с кнопки. Гигантская сирена стала давиться собственным голосом. Она глухо бормотала одно и то же:

– Бля-бля-блям… Бля-бля-блям…

Никакого пожара в Розуотере не было. Просто надо было возвестить, что настал полдень.

— Ну и звук! — сказал сенатор, медленно выпрямляясь. — У меня все вылетело из головы.

— Может, это и хорошо?

— Ты слышал, что я тебе говорил про род-айлендских Розуотеров?

— Да.

— И как ты к этому относишься?

— Мне грустно и боязно. — Элиот вздохнул, попытался было невесело усмехнуться, но ничего не вышло. — Я ведь всегда надеялся, что никто не станет искать доказательств — здоров я или нет и что это вообще никакого значения не имеет.

— Разве у тебя когда-нибудь возникали сомнения, здоров ты психически или нет?

— Безусловно.

— И давно *это* началось?

Глаза у Элиота расширились, словно он искал в пространстве честный ответ:

— Лет с десяти, пожалуй…

— Ты шутишь, конечно!

— Очень утешительно, что ты в этом уверен.

— Ты был здоровым, нормальным ребенком!

— Серьезно? — Элиот искренне обрадовался,

вспомнив, каким он был мальчиком, он был рад вызвать в памяти этот свой образ, вместо того чтобы думать о тех наваждениях, которые его одолевали.

— Мне только жаль, что в детстве мы привезли тебя сюда.

— А мне тут и тогда понравилось и нравится до сих пор.

Сенатор крепче уперся ногами в пол, готовясь нанести решительный удар:

— Возможно, мой мальчик, но теперь надо отсюда уезжать и больше не возвращаться.

— Как это не возвращаться? — удивленно спросил Элиот.

— Этот этап твоей жизни окончен. Когда-нибудь должен был прийти конец. Хотя бы за это стоит поблагодарить род-айлендских стервецов. Это они заставляют тебя уезжать отсюда — и уезжать немедленно.

— Как это они *могут*?

— А как ты сможешь доказать, что ты не сумасшедший, живя в такой декорации? Обстановочке?

Элиот оглядел комнату, ничего особенного не увидел:

— Тебе… тебе моя обстановка кажется *стран-*

ной?

— Да ты и сам все понимаешь, черт подери!

Элиот медленно покачал головой:

— Если тебе рассказать, отец, чего я не понимаю, ты, наверно, очень удивишься!

— Такой обстановки нигде в мире не найдешь. Если бы поставить на сцене такую декорацию и в ремарках было бы сказано: «При поднятии занавеса сцена пуста», то все зрители дрожали бы от нетерпения — поскорее увидеть, какой немыслимый психопат живет в таких условиях.

— А что, если этот псих выйдет и совершенно разумно объяснит почему он так живет?

— Все равно он — психопат!

Элиот как будто с этим согласился. Во всяком случае, спорить он не стал, решив, что лучше ему умыться и переодеться перед отъездом. Он порылся в ящиках стола, нашел наконец бумажный пакет, где лежали вчерашние покупки: кусок душистого мыла, жидкость для ног, шампунь от перхоти, флакончик дезодоранта и тюбик зубной пасты.

— Рад, что ты опять решил принять приличный вид, сынок.

— Гм? — Элиот внимательно читал надпись на флакончике дезодоранта *«Аррид»* — таким он

никогда не пользовался, да и вообще никаких средств от пота он никогда не употреблял.

— Вот приведешь себя в порядок, бросишь пить, уедешь отсюда, откроешь контору где-нибудь в Индианаполисе, в Чикаго, в Нью-Йорке, где угодно, — и когда начнется судебная экспертиза, все увидят, что ты абсолютно нормальный человек.

— Угу, — сказал Элиот и спросил отца, употреблял ли он когда-нибудь средство от пота «Аррид».

Сенатор обиделся:

— Я принимаю душ и утром и на ночь. Предполагаю, это избавляет меня от нежелательных выделений.

— Тут написано, что при употреблении может выступить сыпь, и если выступит, то надо перестать пользоваться этим средством.

— Если тебя это беспокоит, выкинь эту штуку. Лучше воды и мыла ничего нет.

— Гм…

— Вот в чем наша беда тут, в Америке. Эти деятели с Мэдисон-сквера заставляют нас больше беспокоиться о наших подмышках, чем о России, Китае и Кубе вместе взятых.

Разговор, в сущности, очень щекотливый для двух столь ранимых людей сейчас незаметно

перешел в совсем мирную беседу. Сейчас они спокойно и безбоязненно говорили обо всем.

— Знаешь, — сказал Элиот, — Килгор Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело. Там у них больше не с чем было бороться — не было ни эпидемий, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться, с запахами.

— Видишь ли, если тебе придется выступать на суде, — сказал сенатор, — лучше не проявлять особых восторгов по поводу этого Килгора Траута. Твоя любовь к этой приключенческой чуши может создать впечатление у очень многих людей, что ты очень отстал в своем развитии.

И снова их разговор утерял мирный тон. В голосе Элиота появились резковатые нотки, когда он упрямо продолжал излагать содержание романа Килгора Траута под названием: *«О, скажи — чуешь ты?»*[12]

— В этой стране, — рассказывал Элиот, — было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Исследовательская работа велась на добровольные пожертвования, которые собирали матери

---

[12] notes: 12
Название пародирует начало американского гимна.

семейств, по воскресеньям обходя дом за домом. В институтах ученые пытались найти идеальный химический состав для уничтожения каждого запаха. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым, и все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы.

— Ага, — сказал сенатор. Он ненавидел произведения Килгора Траута, и ему было стыдно за сына. — Наверное, он нашел универсальный состав, изничтожавший любой запах.

— О нет, — сказал Элиот. — Ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все носы.

Элиот мылся с ног до головы в ужасающе тесной уборной и, весь дрожа, отфыркивался и откашливался, шлепая себя смоченными бумажными полотенцами.

Смотреть на эту непристойную и нелепую процедуру сенатор никак не мог. Он стал ходить по комнате. Двери в комнату не запирались, и сенатор потребовал, чтобы Элиот придвинул к ним полку с картотекой:

— Вдруг кто-нибудь войдет и увидит тебя голышом? — сказал он, на что Элиот ответил:

— Знаешь, отец, для здешних жителей я почти бесполое существо.

Раздумывая об этой неестественной бесполости и всяких других ненормальных проявлениях, огорченный сенатор машинально выдвинул верхний ящик картотеки. Там стояли три жестянки с пивом, валялись старые водительские права от 1948 года, выданные в штате Нью-Йорк, и незапечатанный и неотправленный конверт с парижским адресом Сильвии. В конверте лежали любовные стихи, которые Элиот написал для Сильвии два года назад.

Сенатор решил отбросить всякий стыд и прочесть стихи, надеясь найти там хоть что-нибудь в пользу Элиота. Но вот какие стихи он прочитал, и ему снова стал неудержимо стыдно:

Художник я в мечтах – ты это знаешь,
А может быть, не знаешь. Да, – и скульптор.
Тебя давным-давно здесь не видать,
И это – как толчок моим рукам – играть
С невидимым каким-то матерьялом
И мысленно его, как глину, формовать.
Наверное, ты очень удивишься,

Узнав, что стал бы делать я с тобой:
К примеру – будь я около тебя,
Когда ты, лежа, этот стих читаешь,
Я попросил бы: «Приоткрой живот», —
Чтоб ногтем левого большого пальца
Я мог бы провести черту в пять дюймов
Над темным треугольником волос,
А правым указательным коснуться
Чудесной ямочки на животе
И замереть, не отнимая рук,
На полчаса, —
А может быть, и дольше.
Что, странно?
Ну еще бы…

Сенатор был глубоко шокирован упоминанием о «темном треугольнике волос». Он сам видел очень мало голых людей, раз пять-шесть в жизни, и для него всякое упоминание о растительности на теле было самым неприличным, самым нецензурным выражением на свете.

Элиот уже вышел из уборной, голый, волосатый, вытираясь чайным полотенцем. Полотенце

было новое, нестираное, на нем виднелся ярлычок с ценой. Сенатор окаменел от жуткого ощущения, что на него со всех сторон с непреодолимой силой хлынула чудовищная грязь, невыразимая непристойность.

Элиот ничего не замечал. В полной невинности он продолжал вытираться чайным полотенцем, потом швырнул его в корзину для мусора. Зазвонил черный телефон.

— Фонд Розуотера. Чем могу вам помочь?

— Мистер Розуотер, — сказал женский голос. — Сейчас по радио передавали про вас.

— Да ну? — Элиот машинально стал почесывать низ живота. Ничего предосудительного в этом не было. Он просто подергивал курчавую прядку волос, выпрямлял ее и отпускал, вытягивал и снова отпускал.

— Говорили, будто кто-то собирается доказать, что вы сумасшедший.

— Не беспокойтесь, дорогая моя. Близок локоть, да не укусишь.

— Ох, мистер Розуотер, если вы уедете и не вернетесь, мы тут все без вас умрем.

— Даю вам честное благородное слово, что я сюда вернусь. Верите мне?

— А вдруг они вас *не выпустят*?

— Вы думаете, что я и на самом деле сумасшедший?

— Да как вам сказать…

— Говорите что угодно!

— Я все время думаю — а вдруг люди *решат*, что вы сумасшедший, раз вы столько заботитесь о таких людях, как мы.

— А вы где-нибудь встречали людей, которым больше нужна забота, дорогая моя?

— Нет, я отсюда никогда не выезжала.

— А стоило бы посмотреть. Вот я вернусь и устрою вам поездку в Нью-Йорк, ладно?

— Господи, да вы же больше никогда не вернетесь.

— Я дал вам честное слово.

— Знаю, знаю. Все равно мы нутром чуем, это в воздухе носится — не вернетесь вы сюда, и все.

Элиоту попалась одна чудная волосинка. Он ее тянул-тянул, а она все не кончалась. Оказалось, что в ней чуть ли не фут длины. Элиот недоверчиво посмотрел на свой волосок, взглянул на отца, явно гордясь таким феноменом. Сенатор побагровел.

— Мы уж тут придумывали, как бы вас проводить получше, мистер Розуотер, — продолжал женский голос. — Хотели устроить парад, с фла-

гами, цветами, плакатами. Но ничего не выйдет. Очень мы все боимся.

— Чего?

— Не знаю, — сказала она и повесила трубку.

Элиот натянул новые спортивные шорты. Как только он их надел, его отец мрачно буркнул:

— Элиот!

— Сэр? — Элиот с удовольствием растянул большими пальцами эластичный поясок шортов. — Здорово она держит, эта штука. Я совсем забыл, как здорово чувствовать *поддержку*.

Сенатор взорвался.

— За что ты меня *ненавидишь*? — заорал он.

Элиот был совершенно ошеломлен:

— Ненавижу тебя, отец? Что ты! Да я вообще не знаю ненависти!

— Почему же ты каждым своим словом, каждым жестом стараешься оскорбить меня?

— Вовсе нет!

— Понятия не имею, какое зло я тебе причинил, за что ты со мной теперь расплачиваешься, хотя, по-моему, ты уже отплатил мне сторицей.

Элиот был в ужасе:

— Отец, прошу тебя…

— Замолчи! Ты только будешь оскорблять меня без конца, а я больше не вынесу!

— Бога ради, отец! Я всегда любил…

— Любил? — с горечью бросил сенатор. — Говоришь, ты меня любил? Да ты меня так любил, что разбил вдребезги все мои надежды, все мои идеалы. Скажешь, что ты и Сильвию любил, да?

Элиот заткнул уши.

Сенатор что-то кричал, брызгая слюной. И Элиот, не слыша слов, читал по губам страшную историю о том, как он загубил жизнь и разрушил здоровье женщины, чьей единственной виной была любовь к нему, Элиоту.

Сенатор вылетел из комнаты, грохнув дверью.

Элиот разжал уши и стал одеваться, как будто ничего особенного не произошло. Он сел, чтобы зашнуровать башмаки, Завязав шнурки, он выпрямился. И вдруг весь окаменел, помертвел.

Зазвонил черный телефон. Элиот не снял трубку.

Глава 13

Что-то живое все-таки оставалось в Элиоте и заставляло его следить за стрелкой часов. За десять минут до того, как его автобус должен был подойти к закусочной, он вдруг ожил, осторожно сдул пушинку с костюма и вышел из своей конторы. Воспоминание о ссоре с отцом ушло куда-то в глубь сознания. Он шел легко и беззаботно, как Чаплин в роли праздного гуляки.

Он наклонился, чтобы погладить собак, прибежавших поздороваться с ним. Новый костюм его стеснял, пиджак резал под мышками, брюки — в шагу, подкладка шуршала при каждом движении, как газетная бумага, напоминая ему, до чего он вырядился.

В закусочной шел разговор. Элиот прислушался, не заходя туда. Голосов он не узнавал, хотя там сидели его знакомые. Трое мужчин с горечью беседовали о денежных делах. Говорили они медленно, потому что мысли приходили к ним почти с такими же перерывами, как деньги.

— Что ж, — сказал один из них, помолчав. — Бедность, конечно, не порок…

Это была первая половина старой-престарой

остроты — ее любил повторять известный во всей округе шутник Кин Хаббард.

— …Но большое свинство! — докончил за него другой.

Перейдя улицу, Элиот зашел в страховую контору начальника добровольной пожарной бригады Чарли Уормерграна. Чарли был человек благополучный и никогда не обращался за помощью в Фонд. Он был одним из семи жителей округа, которые по-настоящему преуспели благодаря системе свободного предпринимательства. Второй была Белла, владелица «Салона красоты». Оба они начали с нуля: оба выросли в семье железнодорожников. Чарли был на десять лет моложе Элиота. Росту в нем было шесть футов с лишним, плечи широкие, бедра узкие, и никакого живота. Кроме поста начальника пожарной дружины, он занимал должность федерального шерифа и инспектора мер и весов. Он также держал вместе с Беллой «Парижский магазин» — хорошенькую галантерейную лавочку в новом деловом квартале для богатых жителей Новой Амброзии. Как у всех героических личностей, и у Чарли был роковой порок. Он категорически отказывался верить, что заразился нехорошей болезнью, что, к сожалению, было правдой.

Известная всему городу личная секретарша Чарли ушла по делам. Кроме Чарли, Элиот застал в конторе еще одного человека — Ноиса Финнери, подметавшего пол. Ноис когда-то играл центра в бессмертной баскетбольной команде средней школы имени Ноя Розуотера. Эта команда не имела ни одного проигрыша в 1933 году. В 1934 году Ноис придушил свою шестнадцатилетнюю жену за постоянные измены и был осужден к пожизненному заключению. Теперь благодаря Элиоту он был взят на поруки. Ноису исполнился пятьдесят один год. Ни родных, ни друзей у него не было. Элиот совершенно случайно узнал о нем, просматривая старые номера *«Розуотерского глашатая»*, и постарался взять его на поруки.

Ноис был человек молчаливый, циничный и обидчивый. Он ни разу не поблагодарил Элиота. Элиот не обижался и не удивлялся. Он привык к неблагодарности. В одном из его любимейших произведений — романе Килгора Траута — речь шла именно о неблагодарности. Назывался роман *«Первый районный Благодарственный Суд»*. Каждый, кто считал себя обиженным, потому что его не поблагодарили как следует за какое-нибудь доброе дело, мог подать на неблагодарного в этот суд. Если ответчика признавали виновным, суд

давал ему наказание на выбор: либо публично принести благодарность жалобщику, либо отсидеть месяц в одиночке на хлебе и воде. По словам Траута, восемьдесят процентов осужденных предпочитали посидеть в каталажке.

Ноис куда скорей, чем Чарли, заметил, что Элиот не в себе. Он перестал подметать и пристально вглядывался в лицо Элиота. Он очень подло за всеми подсматривал. Чарли, всегда восторженно вспоминавший, как доблестно они с Элиотом вели себя на пожарах, ничего не заметил, пока Элиот вдруг не стал поздравлять его с получением награды, которую тот на самом деле получил три года назад.

— Элиот, вы шутите, что ли?

— Почему это я вдруг стану над вами подшучивать? Я искренне считаю, что это большая честь.

Речь шла о медали имени Горацио Алджера, присужденной еще в 1962 году Чарли как лучшему Молодому Хужеру Республиканской Федерацией Клубов Молодых Дельцов — Консерваторов штата Индиана.

— Элиот… — жалобно сказал Чарли. — Да это же было три года назад.

— Неужели?

Чарли встал из-за стола:

— Мы еще сидели у вас в конторе и решили отослать эту дурацкую бляху обратно.

— Правда?

— Мы с вами вспомнили, откуда она взялась, эта медаль, и решили, что она — поцелуй смерти.

— Как же мы могли решить?

— Да вы *же сами* раскопали всю эту историю!

Элиот слегка нахмурился:

— Что-то забыл…

Нахмурился он только для проформы — ему было совершенно неважно, помнил он или нет.

— Они же выдавали эту штуку с 1945 года. Шестнадцать раз присуждали до того, как наградили меня. Неужели не помните?

— Нет.

— Из этих шестнадцати награжденных шестеро посажены за решетку по обвинению в мошенничестве или неуплате налогов, четверо должны были предстать перед судом за разные нарушения законов, двое подделали свои военные аттестаты, а одного казнили на электрическом стуле.

— Элиот, — спросил Чарли с нарастающим беспокойством. — Вы слышали, что я говорил?

— Да.

— Да, что я сказал?

— Забыл.

— Но вы только что сказали, что слышали?

Вдруг Ноис Финнерти заговорил:

— Да он ничего не слышит, у него в голове только «щелк» «щелк», и все. — Ноис подошел поближе к Элиоту, чтобы всмотреться в него как следует. Это было не сочувствие, а как бы клинический осмотр. И Элиот повел себя как при клиническом осмотре, как будто симпатичный доктор направил ему в глаза рефлектор, что-то проверяя.

— Только этот *«щелк»* он и слышит, понятно? *Щелк-щелк*, и все, поняли?

— Что ты плетешь, чертов сын? — спросил Чарли.

— В тюрьме привыкаешь слушать, щелкнуло или нет.

— Да мы же не в тюрьме.

— Это не только в тюрьме бывает. Но в тюрьме привыкаешь прислушиваться куда больше, тем более с годами. Чем дольше просидишь, тем зрение становится слабее, а слух острее. А главное — ждешь, когда щелкнет. Вот вы воображаете, что он вам — близкий человек? Нет, если бы вы с ним были по-настоящему люди близкие, хоть это вовсе не значит, что он был бы вам друг, просто вы

знали бы его насквозь, вы бы за милю слышали, как у него внутри что-то щелкнуло. Вот узнаешь человека насквозь, видишь, чувствуешь, что-то его мучает, а что именно, ты, может, так никогда и не узнаешь. Но от этого-то он и ведет себя так, он и выглядит так, да у него и в глазах что-то кроется, тайны какие-то, что ли. Ты ему скажешь: «Спокойно, спокойно, не надо, успокойся», или же спросишь: «Чего же ты опять глупостей наделал, разве не знаешь, что тебя все равно поймают, все равно попадешь в беду?» Скажешь, а сам знаешь, что зря говоришь, зря его уговариваешь ты же сам понимаешь — сидит в нем то, что им командует. Оно ему скажет: «Прыгай!» — он и прыгнет, скажет «Воруй!» — он сворует, скажет: «Плачь!» — он заплачет. Конечно, может, он вдруг помрет молодым или жизнь у него пойдет, как он сам захочет. Тогда вся эта механика в нем постепенно кончится. А вот работаешь в тюремной прачечной рядом с человеком и вдруг услышишь, как в нем что-то щелкнуло. Обернешься к нему, смотришь — а он перестал работать. Стоит спокойно. Вид у него отупелый. Он весь затих. Заглянешь ему в глаза — а там ничего нет, никаких секретов. Он даже сразу не скажет, как его звать. Опять примется за работу, только он уже стал совсем

другим, никогда прежним не будет. То, что у него внутри сидело, испортилось — завод остановился навсегда. Конец, конец. И весь тот кусок жизни, когда человек вытворял бог знает что, с ума сходил, — все это *кончилось*.

Сначала Ноис говорил медленно, бесстрастно, но к концу он весь вспотел от напряжения. Его руки побелели, мертвой хваткой сжимая рукоять метлы. И хотя весь его рассказ сводился к тому, как тихо и спокойно стал вести себя тот его сосед по тюремной прачечной, сам он никак не мог совладать с собой. Он нещадно, почти непристойно крутил ручку метлы и что-то бессвязно бормотал. «Все! Все!» — задыхаясь шептал он, злобно пытаясь сломать ручку метлы. Он попробовал переложить ее через кольцо, зарычал на Чарли, хозяина метлы: «Не ломается, гадина, сукина дочь!»

— А ты, ублюдок, мать твою… — крикнул он вдруг Элиоту, — ты-то свое получил! — и стал осыпать его ругательствами, все еще пытаясь сломать метлу.

Он отшвырнул метлу:

— Не ломается, стерва, шлюха! — крикнул он и выскочил из конторы.

Элиот в полнейшем спокойствии наблюдал эту

сцену. Он мягко спросил Чарли — почему этот человек так возненавидел метлы? И добавил, что ему, наверное, уже пора на автобус.

— А как… как вы себя чувствуете, Элиот?

— Отлично.

— Правда?

— Никогда в жизни я себя не чувствовал так хорошо. У меня такое чувство, будто… будто…

— Что?

— Будто в моей жизни начинается какая-то новая фаза…

— Должно быть, это приятно…

— Очень, очень!

В таком настроение Элиот прошелся до автобусной остановки у закусочной. На улице стояла непривычная тишина, словно в ожидании перестрелки, но Элиот ничего не заметил. Весь город был уверен, что он уезжает навсегда. И те, кто больше всех зависел от Элиота, яснее, чем пушечный выстрел, услышали, как в нем что-то *щелкнуло*.

В их слабых мозгах возникали какие-то сумасшедшие планы — надо бы достойно проводить его на прощание, устроить парад пожарников, шествие с плакатами, где надписи говорили бы все, что о нем надо было сказать, воздвигнуть

что-то вроде триумфальной арки из пожарных шлангов, с бьющей из них струёй. Но все эти планы пошли прахом. Некому было организовать все это, некому руководить. Почти всех до того обескуражила мысль об отъезде Элиота, что ни сил, ни энергии не хватило даже на то, чтобы, стоя где-то в толпе, грустно помахать рукой на прощание. Они знали, по какой улице он пройдет. И они нарочно туда не шли.

Элиот перешел с тротуара, залитого полуденным солнцем, в сыроватую тень Парфенона, у самого канала. Бывший пильщик, с виду ровесник сенатора, ловил в канале рыбу бамбуковой удочкой. Он сидел на складном стульчике, между его высокими сапогами стоял транзисторный приемник. По радио передавали песню про «старика-реку» Миссисипи. Голос пел: «Черный работает, белый гуляет…»

Старик не был ни пьяницей, ни распутником, вообще безо всяких странностей. Он был просто очень стар, вдов и болен раком в последней стадии, а его сын, служивший в авиации, ему не писал. Вообще он был человек незаметный. Пить он не мог. Фонд Розуотера давал ему деньги на морфий, по рецепту врача.

Элиот поздоровался с ним, но не мог вспомнить

ни его имени, ни чем он страдает. Элиот глубоко вздохнул — в такой хороший денек не стоило вспоминать о грустных вещах.

В конце длинной стены Парфенона стоял небольшой киоск, где продавали шнурки для ботинок, бритвенные лезвия, безалкогольные напитки и журнал *«Американский следопыт»*. Киоском ведал человек по имени Линкольн Эвальд, который во время второй мировой войны был яростным приверженцем нацистов. С начала войны Эвальд завел коротковолновый радиопередатчик, чтобы сообщать немцам, какие изделия ежедневно выпускает Розуотерский пилозавод, а выпускали там ножи для парашютистов и броневую сталь. И хотя немцы ни о каких сообщениях Эвальда не просили, он в первой же передаче заявил, что если они разбомбят город Розуотер, то вся американская экономика разрушится и погибнет. Никаких денег за свои сообщения он не просил. Он презирал деньги и говорил, что ненавидит Америку именно за то, что тут деньги — царь и бог. Просил он только, чтобы ему простой бандеролью прислали Железный Крест.

Его передачу ясно и четко услыхали по своим приемникам два обходчика, охранявшие госу-

дарственный заповедник в сорока двух милях от Розуотера. Сторожа уведомили Федеральное Бюро Расследований, и Эвальда нашли по адресу, который он дал немцам для посылки Железного Креста, и он был арестован и до окончания войны помещен в психиатрическую лечебницу.

Фонд Розуотера почти ничего для него не делал, Элиот только выслушивал его разговоры о политике, чего никто другой делать не желал. Кроме того, Фонд приобрел для него набор пластинок с уроками немецкого языка и дешевый проигрыватель. Эвальду очень хотелось научиться немецкому, но он все время был слишком зол и возбужден.

Элиот не помнил имени Эвальда и чуть было не прошел мимо него. Маленький мрачный киоск, похожий на нору прокаженного, легко было не заметить в тени руин великой цивилизации.

— Хайль Гитлер! — хрипло каркнул Эвальд.

Элиот остановился, приветливо посмотрел в ту сторону, откуда прозвучало приветствие. Весь киоск Эвальда был сплошь занавешен номерами журнала «Американский следопыт». Издали казалось, что этот «занавес» разукрашен круглыми горошинами. Это были пупки обнаженной красотки, Рэнди Геральд, смотревшей со всех раз-

воротов журнала. И везде повторялся ее призыв — найти для нее мужчину, от которого она могли, бы иметь гениального ребенка.

— Хайль Гитлер! — повторил Эвальд из-за журнальной занавеси.

— И вам тоже хайль гитлер, сэр! — улыбнулся Элиот. — Прощайте!

Солнце варварски ударило в глаза Элиоту, когда он вышел из-под тени Парфенона. Его сразу ослепило, и двое лентяев, сидевших на ступеньках суда, показались ему обугленными фигурами в облаках пара. Он услышал, как Белла в своем «Салоне Красоты» отчитывает какую-то даму за то, что та не делает маникюр.

Элиот никого не повстречал, хотя заметил, что кто-то подглядывает за ним из-за занавешенного окна. Он кивнул и помахал рукой неизвестно кому. Подойдя к школе имени Ноя Розуотера, закрытой на все лето, он остановился у флагштока, и его охватила неясная легкая грусть. Он меланхолично прислушался к глухому гулу внутри полого флагштока, когда железка на тросе, с которой был снят флаг раскачиваясь от легкого ветерка, ритмично ударяла по флагштоку, рождая в нем унылый гулкий отзвук.

Элиоту хотелось с кем-нибудь поделиться впе-

чатлением от этих звуков, хотелось, чтобы кто-то вместе с ним их послушал. Но рядом никого не было, кроме собаки, провожавшей его, и он заговорил с собакой:

— Слышишь, какой это *американский* звук? Школа закрыта, занятия кончились, понимаешь? И флаг спустили. Такой грустный, такой *американский* звук. И слушать его надо бы на закате, когда поднимается вечерний ветерок, и все люди на свете садятся за ужин…

Он почувствовал комок в горле. Ему было хорошо.

Когда Элиот проходил мимо заправочной станции, из-за бензоколонок вынырнул молодой человек. Звали его Роланд Барри, и свихнулся он через десять минут после того, как его привели к присяге в форте имени Бенджамена Гаррисона. Ему назначили пенсию как полному инвалиду. Спятил он в ту минуту, как получил приказ — принять душ вместе с сотней других, совершенно голых ребят. Инвалидность у него была нешуточная. Роланд мог разговаривать только шепотом. Целыми днями он сидел около бензоколонок, притворяясь, что занят каким-то делом.

— Мистер Розуотер! — просипел он.

Элиот улыбнулся, протянул ему руку:

— Извините, пожалуйста, забыл ваше имя!

Но Роланд настолько не уважал себя, что ничуть не удивился, почему его забыл человек, к которому он в течение целого года забегал, по крайней мере, раз в день.

— Хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь…

— За что?

— За жизнь, мистер Розуотер. Вы мне жизнь спасли, хотя она, может, того и не стоит.

— Что-то вы преувеличиваете, право!

— Вы один не смеялись надо мной после того, как со мной такое случилось. Может, вы и над стихами не будете смеяться. — И он сунул Элиоту в руку листок бумаги: — Я плакал, когда писал. Вот до чего они смешные. Вот до чего мне все смешно! — прошептал он и убежал.

Элиот растерянно прочел стихи. Вот они:

Колокола, волны,
Море, трели,
Реки, рояли,
Ручьи, свирели.
Водопады, гобои.
Пруды, тромбоны,
Лагуны, флейты

Озера, звоны.

Ты музыку слушай!
Упивайся водой,
Нам, бедным ягнятам,
Идти на убой.

Я люблю вас, Элиот.
Я плачу… Прощай!
Слезы и скрипки,
Сердца и цветы,
Цветы и слезы,
Розуотер, прости!

До закусочной у остановки автобуса Элиот дошел безо всяких приключений. Там сидел хозяин и одна посетительница. Это была четырнадцатилетняя красотка, беременная от своего отчима, причем этот отчим уже сидел в тюрьме. Фонд Розуотера оплачивал врачей, следивших за ее здоровьем; тот же Фонд сообщил полиции о преступлении отчима, а впоследствии нанял лучшего адвоката в штате Индиана, защищавшего его на суде.

Девочку звали Тони Уэйнрайт. Когда она пришла жаловаться Элиоту, он спросил, как она себя

чувствует.

— Как сказать, — ответила она. — Не так уж мне плохо. Вроде как в кино снялась — все меня знают.

Сейчас она пила кока-колу и читала журнал *«Американский следопыт»*. Она кинула на Элиота быстрый взгляд, но больше на него ни разу не посмотрела.

— Один билет до Индианаполиса, пожалуйста.

— Только туда или туда и обратно, Элиот?

Элиот решительно сказал:

— Нет, только туда.

Тони чуть не опрокинула стакан, но вовремя подхватила его.

— Один билет до Индианаполиса! — громко повторил хозяин. — Прошу вас, сэр! — Он сердито проштамповал билет вручил Элиоту и резко отвернулся. Больше и он на Элиота ни разу не взглянул.

Элиот никак не почувствовал возникшего напряжения. Он подошел к журнальной и книжной стойке — поискать, что ему взять почитать в дорогу. Его заинтересовал *«Следопыт»*, он перелистал журнал, прочитал сообщение о том, как в 1934 году в Иеллоустонском заповеднике медведь отгрыз голову семилетней девочке. Элиот

положил журнал на место и взял дешевенькую книжку Килгора Траута *«Трехлетний отпуск из Пангалактики»*.

Вдали глухо пробурчал гудок автобуса.

Когда Элиот садился в автобус, появилась Диана Луун Ламперс. Она плакала. В руках у нее был белый телефон марки «Принцесса». Оборванный шнур волочился по земле.

— Мистер Розуотер! — всхлипнула она.

И вдруг грохнула телефон оземь, у самого входа в автобус:

— Не нужен мне телефон. Больше звонить некому, больше мне никто не позвонит!

Элиоту стало жаль ее, но он не понял, кто она такая:

— Виноват, не совсем понимаю!

— Как? Да это же я, мистер Розуотер! Это я, Диана. Диана Луун Ламперс!

— Рад познакомиться.

– *Познакомиться*? Со мной?

— Да, да, вот *именно*, только... только я не совсем понял — при чем тут телефон?

— Да вы же *единственный* человек, кому я звонила.

— Как же так? — с недоумением спросил он. — У вас, наверное, есть много других знакомых?

— Ах, мистер Розуотер! — зарыдала она, припав к дверце автобуса. — Вы же мой *единственный* друг!

— Ну, вы еще много друзей заведете! — обнадежил ее Элиот.

— Ох, господи! — всхлипнула она.

— Может быть, вам примкнуть к какой-нибудь церкви.

– *Вы* моя церковь! Вы мое все! Вы мое правительство! Вы мой супруг! Вы — все мои друзья!

Такая ответственность несколько озадачила Элиота:

— Право, это очень любезно с вашей стороны. Желаю вам всего хорошего! А мне пора ехать, честное слово! — И он помахал ей рукой: — Прощайте!

Элиот сел в автобус и стал читать *«Трехдневный Отпуск из Пангалактики»*. Около автобуса поднялась какая-то суета, но Элиот не подозревал, что это имеет к нему отношение. Он так увлекся книгой, что даже не заметил, когда автобус тронулся. Книга была поистине захватывающей — в ней шел рассказ об участнике космической экспедиции, работавшей уже в космическом веке. Героя звали сержант Раймонд Бойль. Экспедиция уже долетела до самого конца Вселенной,

до ее предела. Выяснилось, что за местом, где они находились, абсолютно ничего не было, и сейчас экспедиция налаживала сигнальную систему, чтобы попытаться принять хоть какие-нибудь, хотя бы самые слабые сигналы из этой черной бархатной пустоты.

Сержант Бойль был родом с Земли. Он был единственным землянином в экспедиции. Точнее говоря, он был единственным существом с Млечного Пути. Все остальные члены экспедиции были набраны откуда попало. Экспедиция была организована совместными усилиями примерно двухсот галактик. Бойль не занимался техникой. Он был преподавателем английского языка. Дело было в том, что во всей известной ученым Вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно.

Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более *продуктивным*. Уменье говорить делало их куда более *активными*. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому

угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, *мыслить*, планировать.

Бойля вызвали с занятий английским языком к командующему экспедицией. Он недоумевал, зачем его вызывают. Он зашел в штаб командира экспедиции, отдал честь старику. Впрочем, командир никак не походил на обыкновенного старика. Он был родом с планеты *Тральфамадор* и ростом с земную жестянку из-под пива. Но с виду он и на жестянку не походил. Больше всего он был похож на «прокачку» — лучшего друга водопроводчиков.

Командир был не один. Тут же присутствовал капеллан экспедиции. Патер был родом с планеты Глинко-Х-3, он был похож на огромного осьминога на колесиках и плавал в бассейне с серной кислотой. Вид у него был мрачный. Очевидно, стряслось что-то страшное.

Капеллан сказал Бойлю:

— Будьте мужественны!

Командир сказал, что пришли плохие вести. Командир сказал, что гибель посетила дом, и ему, Бойлю, дают внеочередной отпуск на три дня, и

что он должен отбыть немедленно.

– Кто погиб? Мама? – Бойль с трудом удерживался от слез. – Или папа? Может быть, Нэнси! (Так звали его девушку, соседку.) Или дедушка?

– Крепись, сынок, – сказал командир. – Страшно вымолвить… Дело не в том, *кто* погиб. Дело в том, *что* погибло.

– А что погибло?

– Млечный Путь погиб, мой мальчик, – сказал, командир.

Элиот поднял глаза от книги. Округ Розуотер все отдалялся и отдалялся. Он о нем уже не помнил.

На остановке в Нэшвиле, центре округа Браун, в штате Индиана, Элиот взглянул в окно и стал внимательно разглядывать стоявшие поблизости пожарные машины. Он мельком подумал, не подарить ли нэшвилским пожарным хорошее новое оборудование, но решил, что не стоит. Наверное, им не справиться с современной техникой.

В Нэшвиле процветали всякие художественные ремесла, и ничего странного не было, что в мастерской стеклодува Элиот увидал, как изготовлялись елочные украшения, хотя стоял июнь.

Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Элиот в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево — над городом бушевал огненный смерч. Элиот был поражен — он никогда не видел такого пламени, хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне.

Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу, и для самого Элиота было тайной — почему он так ее прятал, почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика, почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги. Он чувствовал себя как слабовольный пуританин, которому попалась в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Элиота и намека на эротику не было. Называлась книга *«Бомбардировка Германии»*. Написал ее Ганс Румпф.

Одну главу Элиот, с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден.

> «Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся столб раскаленного воздуха, высотой около трех миль и диаметром мили в пол-

торы… Столб завертелся вихрем – снизу шли потоки холодного воздуха, отчего этот вихрь усиливался. В полутора милях от пожаров скорость ветра возросла с одиннадцати до тридцати трех миль в час. По периферии смерча скорость ветра, по-видимому, была больше, так как ветер с корнем вырывал деревья футов до трех в обхвате. Вскорости воздух накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла, то есть и следов от горючих материалов не оставалось, только через два дня температура пожарища снизилась настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району».

Приподнявшись в кресле автобуса, Элиот смотрел на огненный смерч, пожиравший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба, в восемь миль диаметром и по меньшей мере миль пятьдесят в высоту.

Столб пламени словно был отлит из стекла, настолько явственно и неподвижно встал он над городом. Внутри него крупинки раскаленной докрасна золы торжественно и плавно кружились вокруг ослепительно-белой сердцевины. И ее

белизна казалась священной.

Глава 14

Перед глазами Элиота все стало черным-черно, как тьма за пределами Вселенной. Очнулся он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Солнце пригревало его, просвечивая сквозь ветви платана. На платане пела птичка. «*Пью-ти-фьют?* — спрашивала она. — *Пьюти-фьют, фью, фью?*» Сад был окружен высокой каменной стеной — и Элиот узнал этот сад. Тут он не раз навещал Сильвию. В саду находилась частная нервная клиника доктора Брауна, в Индианаполисе, и много лет назад он привез сюда Сильвию. На каменном барьере фонтана было высечено следующее изречение:

«ВСЕГДА ПРИТВОРЯЙСЯ ХОРОШИМ — ОБМАНЕШЬ ДАЖЕ САМОГО ГОСПОДА БОГА».

Элиот увидел, что его нарядили в ослепительно-белый теннисный костюм и что ему, словно манекену в витрине, даже положили на колени теннисную ракетку. Он крепко сжал рукоятку ракетки, хотелось проверить, существует ли она, существует ли он сам. Он следил, как в сложном переплетенье заиграли мышцы предплечья,

почувствовал, что он не просто теннисист, но и очень хороший игрок. Он сразу понял, где он играет в теннис: к одной стороне садовой ограды примыкал теннисный корт, и сетка вокруг площадки была увита повиликой и душистым горошком.

– *Пьюти-фьют*?

Элиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Элиот принял эту мысль совершенно спокойно.

Он все еще не спускал глаз с птички. Хорошо бы стать такой птахой, взлететь на самую верхушку дерева и никогда не спускаться вниз. Ему хотелось взобраться повыше, потому что тут, на уровне земли, происходило что-то не очень ему приятное. Четверо мужчин в строгих темных костюмах сидели на короткой каменной скамье всего футах в шести от него. Они пристально смотрели на Элиота, как бы выжидая, чтобы он сообщил им что-то очень важное. Но Элиот чувствовал, что ничего важного он ни сказать, ни сделать для них не может.

Заболели мускулы на шее. Неужто он из-за них должен век сидеть, задрав голову?

— Элиот…

— Сэр? — Элиот понял, что с ним говорит его отец. И он стал постепенно переводить взгляд с ветки на ветку, так раненые птицы медленно слетают вниз, — и наконец его глаза встретились с глазами отца.

— Ты, кажется, хотел сообщить нам что-то важное? — спросил отец.

Элиот видел, что на скамье сидят четверо мужчин — трое старых и один молодой, все они сочувствнно смотрят на него и напряженно прислушиваются — не захочет ли он сообщить им что-нибудь. В молодом человеке Элиот узнал доктора Брауна. Второй старик был Мак-Алистер, адвокат их семьи. Третьего старика Элиот раньше не встречал, но, как ни странно, его это ничуть не смутило, потому что у незнакомца, похожего на славного сельского гробовщика, было такое доброе лицо, что он показался Элиоту старым другом.

— Вы не находите слов? — подсказал доктор Браун. В голосе врача звучало беспокойство, он подвинулся поближе, готовясь помочь Элиоту найти эти слова.

— Не нахожу слов, — подтвердил Элиот.

— Что ж, — сказал сенатор. — Если ты не мо-

жешь выразить свои мысли словами, значит, никак нельзя привести эти мысли на суде в доказательство твоей нормальности.

Элиот кивнул в знак согласия.

— А разве я… я уже *пытался* найти слова и что-то вам сказать? — спросил он.

— Ты просто заявил, что тебя только что осенила идея, каким образом навести порядок во всей этой неразберихе, без шума, честно и справедливо. Потом замолчал и уставился на дерево.

— Угу… — сказал Элиот. Он как будто силился припомнить, потом пожал плечами: — Ничего не помню, совсем вылетело из головы.

Сенатор хлопнул в ладоши — руки у него были старые и пятнистые:

— Нам теперь хороших идей не занимать, и сами придумаем, как одолеть все препятствия. — Он победоносно осклабился, хлопнул мистера Мак-Алистера по колену: — Верно? — Просунув руки за спину Мак-Алистера, он потрепал незнакомца по спине: — Верно? — Очевидно, он был просто влюблен в этого человека: — Тут на нашей стороне целый мозговой трест, лучше его планов ничего не найти! — Он захихикал, видно, он был в восторге от всех этих планов.

Сенатор широко раскрыл руки:

— Смотрите на моего сына — *вот* вам лучший аргумент в нашу пользу, смотрите, как он выглядит, как держится, такой подтянутый, такой складный! Он сам — наш козырь номер один!

Глаза у старика заблестели:

— Сколько он потерял в весе, доктор?

— Около двадцати килограммов.

— Снова в прежней спортивной форме! — восхитился сенатор. — Ни грамма лишнего! А какой теннисист! Пощады не жди! — Сенатор вскочил, нелепо замахал рукой, изображая теннисную подачу. — Никогда в жизни я не видал такой игры, как на этом корте час назад! Ты его *угробил*, Элиот!

— Гм-мм… — сказал Элиот. Он посмотрел по сторонам — хотелось взглянуть на себя в зеркало или хотя бы на свое отражение в воде. Он понятия не имел, как он выглядит. Но фонтан совсем высох. Только посреди бассейна, в чаше, служившей птицам купальней, осталась мутная лужица — от нее шел горький запах прелых листьев и сажи.

— Вы, кажется, сказали, что Элиот обыграл профессионала? — спросил сенатор доктора Брауна. — Да, тот играл много лет. — Элиот его *изничтожил*! А каким победителем он подлетел к нам, с корта, пожать нам руки, право, мне

хотелось и смеяться и плакать. И этот человек, подумал я, должен будет завтра доказывать, что он не сумасшедший! Хо-хо!

Поняв, что все эти четверо не считают его больным, Элиот совсем расхрабрился, встал, словно хотел поразмяться. На самом же деле хотелось подобраться поближе к воде в птичьей купальне. Как бы подтверждая свою репутацию отличного спортсмена, он легко перепрыгнул через каменный барьер в бассейн, сделал глубокое приседание, словно радуясь избытку сил. Мускулы повиновались ему отлично, он весь был как стальная пружина.

При резком рывке Элиот почувствовал, что у него в заднем кармане лежит какой-то пакет. Он вытащил его — оказалось, что это свернутый в трубку номер *«Американского следопыта»*. Элиот развернул журнал — наверное, там красовалось то же фото Рэнди Геральд, умоляющей найти ей производителя, от чьего семени родится гениальный отпрыск. Но вместо Рэнди он увидел свой собственный портрет, в пожарной каске. Это была увеличенная фотография с группового снимка всей пожарной дружины на параде четвертого июля.

Надпись внизу гласила:

«САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ?
(см. на развороте)».

Элиот разглядывал журнал, пока остальные в чрезвычайно оптимистическом тоне обсуждали, как пройдет завтрашняя судебная экспертиза. На развороте Элиот нашел еще одну свою фотографию. Это был не очень ясный снимок — Элиот, играющий в теннис на корте лечебницы.

С противоположной страницы на его игру с оскорбленным видом смотрело все благородное семейство Фреда Розуотера. У них был вид сезонников батраков. Фред тоже очень исхудал. Была там и фотография их адвоката, Нормана Мушари. Норман, работавший теперь самостоятельно, обзавелся изысканным жилетом и золотой цепочкой для часов. Дальше цитировались его слова: «Мои клиенты желают только одного — вернуть себе и своим потомкам наследие, положенное им по рождению и по закону. Кичливые плутократы из Индианы истратили миллионы долларов, заручились помощью влиятельнейших друзей по всей стране, лишь бы не дать своим родичам довести дело до суда. Семь раз, под всякими пустячными предлогами, откладывалась судебная экспертиза, а тем временем Элиот Розуотер без

конца играет в теннис на корте психиатрической лечебницы, а его приспешники трубят во все концы, что он совершенно здоров.

Если мои клиенты проиграют дело, они потеряют свой скромный домик, свою нехитрую обстановку, свой подержанный автомобиль, маленькую яхту своего сынишки, страховой полис Фреда Розуотера, все свои сбережения и тысячи долларов, взятых в долг у преданного друга. Эти прямодушные, простые люди — рядовые американцы — поставили все, что имели, на свою веру в американское правосудие, и оно не должно, не может, не смеет их подвести!»

Рядом с фото Элиота были напечатаны две фотографии Сильвии. На первой, давнишней, она танцевала твист со знаменитым Питером Лоуфордом. На второй, совсем новой, она входила под своды женского монастыря в Бельгии, где строго соблюдался обет молчания.

Элиот, вероятно, задумался бы над тем, какой необычной с начала до конца была судьба Сильвии, если бы вдруг не услыхал, как отец ласково окликнул пожилого незнакомца:

— Мистер Траут!

— Траут! — крикнул Элиот. Он так изумился, что чуть не потерял равновесие, и ухватился за

край чаши, чтобы не упасть. Птичья купальня была так неустойчива, что стала крениться, и Элиот бросил журнал и обеими руками вцепился в чашу, удерживая ее на подставке. И тут увидел свое отражение в воде. На него лихорадочным взглядом уставился исхудалый старообразный подросток.

«Бог мой! — подумал Элиот, — вылитый Ф. Скотт Фицджеральд, за день до смерти!»

Элиот предусмотрительно удержался и не окликнут Траута еще раз; он понимал, что может себя выдать, что все увидят, как он болен, потому что они с Траутом, очевидно, познакомились давно, когда Элиот был еще в полном беспамятстве.

Не узнал его Элиот и по той простой причине, что на всех книжных обложках Траут был изображен с бородой. У незнакомца бороды не было.

— Уверяю тебя, Элиот, — сказал сенатор, — когда ты попросил меня пригласить сюда Траута, я пожаловался твоему врачу, что ты все еще не в своем уме. Ты говорил, что Траут может разъяснить смысл твоей деятельности в Розуотере. Я готов был попробовать что угодно и вызвать его сюда, и ничего умнее я еще никогда в жизни не сделал!

— Правильно, — сказал Элиот, осторожно уса-

живаясь на край бассейна. Он поднял упавший журнал. Складывая его, он впервые прочитал дату на обложке. Он спокойно подсчитал, сколько времени прошло. Каким-то образом он где-то потерял целый год.

— Ты только говори то, что тебе подскажет мистер Траут, — приказал сенатор, — постарайся выглядеть таким, как сейчас, и я не вижу никаких оснований, чтобы мы проиграли дело.

— Конечно, я буду говорить все, что мне подскажет мистер Траут, и, разумеется, ни единой детали этого маскарада не изменю. Но я бы попросил еще разок повторить, что именно велит мне сказать мистер Траут.

— Все очень просто, — сказал Траут. Голос у него был глубокий, звучный.

— Да вы же столько раз все повторяли, — сказал сенатор.

— И все-таки, — сказал Элиот, — хотелось бы послушать еще разок.

— Так вот. — Траут потер руки, посмотрел на свои ладони. — Всю вашу деятельность в Розуотере никак нельзя назвать безумием. Наоборот, можно сказать, что это был один из самых значительных для нашего времени социальных экспериментов, так как вы, правда в очень

ограниченном масштабе, пытались разрешить проблему, которая несомненно встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так: «Каким образом проявлять любовь к лишним людям?» Со временем все люди — и мужчины и женщины — станут ненужными в производстве всех материальных ценностей — любых вещей, пищи, машин, ненужными даже как источник развития новых идей в экономике, инженерии и в медицине. И тогда, если мы не найдем оснований беречь людей хотя бы за то, что они *люди*, почему бы не начать просто *уничтожать* их, что уже предлагалось не раз?

Американцев издавна приучали ненавидеть тех, кто не может или не хочет работать, ненавидеть за это даже самих себя. Это — наследие наших предков-первопоселенцев, и здравый смысл оправдывал эту необходимую тогда жестокость. Но придет время — и оно уже надвигается, — когда никакой здравый смысл не оправдает эту ненужную жестокость.

— Нет, все-таки, если у бедного человека есть хватка, он и сейчас может выбраться из болота.

Этот закон еще сохранится тысячу лет, — перебил Траута сенатор.

— Вполне возможно, — согласился Траут. — Человек с настоящей хваткой может добиться, чтобы его наследники жили в «Утопии», подобной Писконтьюту, где застой в душах, глупость, бесчувственность и тупость пагубнее любой эпидемии в округе Розуотер. Бедность — сравнительно легкое заболевание, даже для слабой американской душонки, а вот сознание своей бесполезности, ненужности может убить как слабых, так и сильных душой. Значит, надо найти лекарство.

Совершенно нормально и то, что вы, Элиот, так заинтересованы в организации добровольных пожарных дружин. Ведь при первом сигнале тревоги они проявляют такую самоотверженность, какой, пожалуй, нигде больше у нас в стране не найти. Они сразу бросаются спасать людей, не считаясь ни с какими затратами. И если у самого презренного, самого жалкого человека в городе загорится его жалкий скарб, он увидит, как даже его враги бросаются тушить пожар. А когда он станет ворошить головешки, в надежде найти хоть что-нибудь из жалкого своего имущества, ему посочувствует и попытается утешить лично

сам начальник пожарной дружины.

Траут широко развел руками:

— Вот вам люди, которые оберегают других людей только потому, что те — тоже люди. А это редкий случай. Вот у кого мы должны учиться.

— Замечательный вы человек, ей-богу! — похвалил Траута сенатор. — Вам бы заведовать отделом внешних связей в какой-нибудь компании! Вы сумели бы кого угодно уговорить, доказать, скажем, что столбняк полезен для общественного блага. Ну что такому человеку делать в бюро по приему премиальных талончиков?

— Гасить талончики, — мягко сказал Траут.

— Мистер Траут, — спросил Элиот, — а где ваша борода?

— Вы же первым делом спросили меня про бороду.

— Ну, расскажите еще раз.

— Я голодал, совсем упал духом. Приятель сказал, что есть работа. Я сбрил бороду, пошел в это бюро, и меня взяли на работу.

— Пожалуй, вас не взяли бы с такой бородой.

— Я бы все равно ее сбрил, даже если бы меня и взяли.

— Почему?

— Подумайте, какое кощунство — с лицом Спа-

сителя гасить талончики!

— Век бы вас слушал, мистер Траут! — сказал сенатор.

— Спасибо…

— Только перестаньте утверждать, что вы — социалист! Наоборот, вы — за свободное предпринимательство!

— Против воли, уверяю вас!

Элиот внимательно прислушивался к разговору двух стариков — каждый был по-своему интересен ему. Он подумал, что на месте Траута мог бы обидеться, когда сенатор сказал, что из него вышел бы хороший агент по рекламе, то есть отъявленный лгун, но Траута это ничуть не задело. Трауту, очевидно сам сенатор доставлял удовольствие, как законченное и полноценное произведение искусства, и спорить с ним, не соглашаться с какими бы то ни было его утверждениями он никак не собирался. А сенатор восхищался, как этот пройдоха Траут умеет хитро подвести рациональную базу под что угодно; он не понимал, что Траут всегда говорит чистую правду.

— Какую отличную политическую программу вы могли бы написать, мистер Траут!

— Благодарствуйте!

— Адвокаты тоже умеют так рассуждать, придумывать выход из самых запутанных положений. Но их доказательства всегда звучат фальшиво. Все равно как если бы увертюру «1812 год» сыграть на сопелке.

Сенатор уселся поудобнее, расплылся в улыбке:

— Ну-ка расскажи нам, какие еще чудеса творил там Элиот с пьяных глаз.

— Но суд непременно начнет выяснять, что Элиот *узнал* из своих экспериментов, что он узнал для себя, — сказал Мак-Алистер.

— Узнал, что надо бросить пить, надо помнить, кто ты такой, и вести себя соответственно! — решительно заявил сенатор. — А главное, не разыгрывать перед этими людьми господа бога, не то они сначала обслюнявят тебя с ног до головы, вытянут все, что можно, начнут нарушать все десять заповедей, и радоваться, что им отпускают все грехи, а после твоего отъезда станут поносить тебя вовсю.

Элиот не выдержал:

– *Меня* поносят?

— А-а, черт их дери, они и любят тебя и ненавидят, плачут по тебе и смеются над тобой, а главное каждый день выдумывают про тебя новые враки.

Мечутся, как куры с отрубленной головой, как будто ты и впрямь был у них за господа бога и вдруг бросил их на произвол судьбы.

У Элиота заныло сердце, и он понял, что больше никогда в жизни не вернется в округ Розуотер.

— А мне кажется, — сказал Траут, — что Элиот узнал, как людям нужна безоговорочная любовь.

— Разве это ново? — буркнул сенатор.

— Да, мы впервые увидели, как один человек многим людям долго, бескорыстно и безоговорочно отдавал свою любовь. А если на это способен один человек, почему бы другим не взять с него пример? А тогда в их душах изчезнет ненависть к бесполезным, никчемным людям, исчезнет та жестокость, которую мы к ним проявляем, якобы ради их собственного блага. Благодаря примеру Элиота Розуотера миллионы миллионов, быть может, научатся любить ближних, помогать всем, кому так нужна помощь.

Траут посмотрел в глаза своим собеседникам, прежде чем вымолвить последнее слово — вот что он сказал напоследок:

— И это — радость!

– *Пьюти-фьют*!

Элиот снова посмотрел вверх на дерево, соображая, что же он все-таки думает про округ

Розуотер и как он умудрился растерять все свои мысли там, в ветвях платана…

— Был бы у него ребенок, — сказал сенатор.

— Что ж, если вам *действительно* нужны внуки, — посмеиваясь сказал Мак-Алистер, — можете выбрать любого — по последним подсчетам, их пятьдесят семь штук!

Все смеялись, только Элиот спросил:

— От кого это пятьдесят семь внуков?

— От тебя, мой мальчик, — засмеялся сенатор.

— Что?

— Твои грешки!

Элиот чувствовал, что тут кроется какая-то очень существенная тайна, и, рискуя выдать себя, показать, как серьезно он болен, все же сказал:

— Ничего не понимаю!

— Пятьдесят семь женщин в Розуотере утверждают, что ты — отец их ребенка.

— Но это дикий бред!

— Еще бы! — сказал сенатор.

Элиот взволнованно встал с места:

— Это… это немыслимо!

— У тебя такой вид, будто ты впервые об этом услышал, — сказал сенатор и мельком, с тревогой взглянул на доктора Брауна.

Элиот прикрыл глаза рукой:

— Простите, мне кажется, что именно тут у меня какой-то абсолютный провал в памяти!

— Тебе нездоровится, сынок!

— Нет, — сказал Элиот. Он отвел руку от глаз. — Я чувствую себя хорошо. Вот только в одном память мне изменила; пожалуйста, подскажите, как все эти женщины вдруг придумали про меня такую чепуху?

— Доказать это трудно, — сказал Мак-Алистер. — Но мы знаем, что Мушари разъезжал по всему округу, подкупал людей, чтобы они говорили про вас всякие пакости. Про детей начала говорить Мэри Моди. После того как Мушари побывал в городе, она стала всем рассказывать, что вы — отец ее близнецов, Фокскрофта и Мелоди. И тут началась настоящая эпидемия среди женщин.

Килгор Траут утвердительно кивнул:

— Именно эпидемия.

— Вот женщины по всему округу и стали утверждать, что дети у них — от вас. Из них, по крайней мере, половина сами поверили, что это правда. Одна пятнадцатилетняя девчонка, чей отчим сидит в тюрьме за то, что он ее обрюхатил, теперь уверяет, что ребенок у нее — от вас.

— Но это ложь!

— Конечно, конечно, это ложь, Элиот! — сказал его отец. — Успокойся, пожалуйста! Мушари не посмеет сказать об этом на суде. Вся его затея давно рухнула. Этого ни один судья не станет слушать — настолько очевидно, что это бред. Мы даже проверили группу крови у близнецов — они ни в коем случае не могут быть твоими детьми. А у остальных психопаток мы ничего и проверять не станем. Ну их всех к черту!

– *Пьюти-фьют…*

Элиот взглянул на дерево — и вдруг в памяти возникло все, что до сих *пор* скрывалось в черном провале — драка с водителем автобуса, смирительная рубашка, лечение электрошоком, покушение на самоубийство, теннис и вся сложная стратегия подготовки к судебной экспертизе.

И в обрушившемся на него потоке воспоминаний вдруг возникла идея — как немедленно все уладить, достойно и справедливо.

— Скажите откровенно, — начал он. — Можете ли вы все присягнуть, что я вполне нормален?

Все с жаром ответили утвердительно.

— И я по-прежнему являюсь главой Фонда Розуотера? По-прежнему имею право выписывать чеки из Фонда?

Мак-Алистер подтвердил, что он, разумеется,

имеет такое право.

— А каков наш баланс на сегодняшний день?

— Весь год вы ничего не тратили, кроме гонорара адвокатам, оплаты вашего пребывания в лечебнице, тех трехсот тысяч долларов, что вы ежегодно посылаете Гарвардскому университету, и тех пятидесяти тысяч, что вы дали мистеру Трауту.

— И при этом он истратил в этом году больше, чем в прошлом, — заметил сенатор. Это было верно: все благотворительные мероприятия Элиота в Розуотере обошлись дешевле, чем пребывание в лечебнице.

Мак-Алистер сказал Элиоту, что прибыли Фонда составляют около трех с половиной миллионов долларов, и Элиот попросил у него ручку и чековую книжку. Он выписал на имя своего родственника, Фреда Розуотера, чек на миллион долларов.

Сенатор и Мак-Алистер страшно всполошились, стали объяснять Элиоту, что уже предлагали Фреду покончить дело миром за некоторую мзду, но Фред через своего адвоката высокомерно отказался.

— Им требуется всё, целиком, — сказал сенатор.

— Жаль, жаль, — сказал Элиот, — потому что, кроме этого чека, им ничего не достанется.

— Это решит суд, а что *именно* скажет суд, одному богу известно, — предупредил его Мак-Алистер. — Кто знает, кто знает…

— Но если бы у меня был ребенок, — спросил Элиот, — разве тогда понадобился бы какой-то суд? Ведь мой ребенок автоматически унаследовал бы капиталы Фонда, а сумасшедший я или нет, совершенно все равно. Причем Фред настолько дальний наш родич, что не имел бы никаких прав при прямом наследнике.

— Правильно, — подтвердил Мак-Алистер.

— Между прочим, целый миллион — слишком много для этой род-айлендской свиньи, — сказал сенатор.

— Сколько же ему дать?

— Сто тысяч долларов хватит с головой.

Элиот порвал чек на миллион и выписал новый чек — сумма была в десять раз меньше. Взглянув на окружающих, он увидел, что все поражены — до них только что дошел смысл его слов.

— Элиот… — Голос у сенатора дрогнул: — Ты… ты хочешь сказать, что у тебя *есть* ребенок?

Улыбка Элиота походила на улыбку мадонны:

— Да.

— Где он? От кого?

Элиот мягким жестом остановил его:

— Терпение! Не все сразу!

— Значит, я — дед! — Сенатор поднял голову к небу, словно благодаря Творца.

— Мистер Мак-Алистер, — сказал Элиот. — Обязаны ли вы по закону выполнять любую юридическую операцию по моему поручению, несмотря на возражения моего отца или кого-нибудь другого?

— Как юрисконсульт Фонда я обязан выполнить все ваши поручения.

— Отлично. Тогда я попрошу вас составить документ, где будет сказано, что все дети в округе Розуотер, которых приписывают мне, — *мои дети*, независимо от группы крови. Пусть они получат все законные права, как мои наследники, как мои дочери и сыновья.

— Элиот!

— Пусть они с этого дня носят фамилию Розуотер. Передайте всем им, что отец их любит и всегда будет любить, кем бы они ни стали. И еще скажите им…

Элиот умолк, потом высоко, как волшебный жезл, поднял теннисную ракетку:

— И скажите им, — начал он снова, — скажите:

«Плодитесь и размножайтесь!»

КОНЕЦ